

ИЛЬЯ КАЛИНИН
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН



ВИКТОР — СПАСШИЙСЯ

ЧАСТЬ III
ЧЁРНАЯ КНИГА

Илья Калинин

Виктор - Спасшийся
Часть III Черная Книга

«Автор»

2026

Калинин И.

Виктор - Спасшийся Часть III Черная Книга / И. Калинин —
«Автор», 2026

Виктор Скорев плывёт на север, туда, где его не ищут, и приплывает туда, где его уже знают — по байке о старике-счётчике с чёрной книгой, от касания которого умирают без ран. В пушном городе, запертом льдом до весны, его встречают ревизором того самого торгового дома, что разослал его приметы. Здесь каждый оказывается не тем, кем казался. Вдова продаёт его двоим сразу. Пленник в погребке оказывается хозяином. Охранник, убитый его рукой, вёз письмо о его спасении. А старшина обоза знает то, чего не знал никто: вещь на руке Виктора не бьёт через дерево. Тем временем зимний шторм выбрасывает на дикий берег железную крышку со знаками. Её ставят в храме первого города рядом с его листьями и назначают суд и костёр. Виктор возвращается туда, где всё началось, чтобы сжечь всё, что горит. Но железо не горит, а в столице герцога уже ищут того, кто прочтёт знаки. Третья книга цикла «Виктор — Спасшийся».

Содержание

Глава 1. Последний корабль	5
Глава 2. Чужое имя	9
Глава 3. Сорок соболей	13
Глава 4. Братина	17
Глава 5. Мороз	21
Глава 6. Зимовье	25
Глава 7. Прежний	29
Глава 8. Чёрная книга	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Илья Калинин

Виктор - Спасшийся

Часть III Черная Книга

Глава 1. Последний корабль

На восьмой неделе вода за бортом загустела.

Я заметил это утром, выйдя на палубу из трюма, где спал на соли. Море было серое и тихое, а у борта по воде шла какая-то каша, мутная, как разведённое сало, и лопасти вёсел, когда матросы ими работали, выходили из неё облепленные белым. Корабельщик стоял на корме и смотрел на эту кашу так, как смотрят на человека, который пришёл за долгом.

— Сало пошло, — сказал он кормчему. — Ещё неделя, и встанем.

Кормчий сказал, что недели не будет: Серые мысы к вечеру.

Последние две недели холод шёл за нами по пятам, как идёт за обозом голодная собака. Сперва по утрам стали замерзать ведра на палубе. Потом на снастях повис иней, и матросы, лазая наверх, обматывали руки тряпками. Потом южане, которых на судне было трое, перестали бегать ловить снег ладонями, как в первый раз, и стали сидеть внизу, в трюме, у жаровни, закутавшись во всё, что у них было, и смотреть на северян с ненавистью. А северяне смеялись и говорили, что это ещё не холод, а так, осень.

Я в эти две недели переложил золото.

На юге я носил его в поясе и в подоле кожаного балахона. На севере кожаный балахон слуги мора был бы самой приметной вещью во всём городе: таких тут не видели никогда. Я распорол его ночью в трюме, вынул из подола монеты и зашил их в подкладку шерстяного плаща, в швы тёплых сапог и в пояс, по одной в ячейку, как зашивал всегда. Балахон я свернул и сунул на дно котомки. Выбросить его я не смог — не знаю отчего. Может, оттого, что в нём меня сорок девять дней никто не касался.

Серые мысы мы обогнули в сумерках. Это были скалы, длинные, низкие, тёмные, выдававшиеся в море, как пальцы руки, которую положили на воду, и между пальцами лежал лёд — уже не каша, а настоящий, ломкий, с краями, которые шуршали, когда о них тёрся борт. Над скалами кричали птицы. Ветер с берега был такой, что резал лицо, как нож, и я впервые за два года натянул на голову капюшон не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы не отморозить уши.

А за последним мысом открылась бухта, и в бухте — город.

Он стоял на склоне над водой, весь деревянный, тёмный, из брёвен, и над каждой крышей поднимался дым — прямо, столбом, потому что на холоде дым не стелется, — и этих столбов было столько, что над городом стоял серый лес из дыма. Город был обнесён частоколом, а внизу, у воды, тянулись длинные амбары и причалы, и у причалов стояли суда — немного, пять или шесть, — вмёрзшие в лёд уже по самые борта.

Мы были последние.

Корабельщик сказал это, когда мы, ломая лёд вёслами и шестами, подходили к причалу: последний корабль этой осенью. Через три дня, может, через пять, бухта встанет совсем, и до весны отсюда не уйдёт ни одно судно и ни одно не придёт. До весны отсюда одна дорога — санная, лесом, на устье, три недели, если не заметёт.

Я стоял у борта и смотрел на город, в который меня привезли, и думал, что выбрал его правильно.

Тут не было ни одной конторы Ведмаров — так сказал мне корабельщик ещё на юге, когда я спрашивал. Тут торговали мехами северные купцы сами по себе, и южане приходили сюда раз в год, летом, за соболем и рыбьим зубом, и уходили. Тут меня не искали. Сюда не ходили письма Сабина, и до весны не дойдёт ни одно письмо вообще.

И тут было холодно. Так холодно, что длинный рукав здесь был не приметой, а единственным способом не потерять руки.

Мы сошли на причал по обледенелым сходням.

Мытник тут был один, старый, в волчьей шубе, и шупать никого не стал: на таком морозе в чужих поясах не роются, сказал он, а только спросил, что везём, и записал на дощечку, и взял с каждого по медяку за вход, и ушёл греться. После мытников Белого города это было так просто, что я даже не поверил.

Город внутри был не похож ни на один из тех, где я жил.

Улиц в нём не было — были проходы между срубам, утопанные в снегу до твёрдости камня, и по этим проходам ходили люди в мехах, с ног до головы, так что лиц было не видно, только пар изо рта и иней на бородах. Ездили сани — на конях, а больше на собаках, и собаки были всюду: лежали у дверей, грызлись в проходах, выли по ночам, как я узнал в первую же ночь, все разом, протяжно, будто отпевали кого-то. Пахло дымом, псиной, рыбой и мокрой шерстью. А больше всего пахло мехом.

Мехом тут было всё.

Утром второго дня я видел, как торгуют. На площади у амбаров, на утоптанном снегу, звероловы раскладывали свои связки прямо на санях, а скупщики ходили вдоль саней, брали шкурки, встряхивали, дули в мех, глядя, как он расходится, шупали мездру и называли цену. Соболю шёл дороже всего: хороший тёмный сорок стоил, как я сосчитал по разговорам, столько, сколько во втором городе стоил двор у бондаря со всеми его бочками. Куница шла вдвое дешевле. Лиса — смотря какая. Звероловы торговались зло и коротко, как люди, которые полгода не видели никого, кроме собак, и которым до весны больше не с кем будет говорить.

Над этой торговлей стоял пар от сотни ртов, и мороз был такой, что снег под ногами скрипел, как жёсткая кожа. Меха́ми торговали в амбарах у воды, меха́ми платили, в мехах ходили, на мехах спали. Звероловы приходили из леса с санями, гружёными шкурками, — собо́ль, куница, лиса, бобёр, — и шкурки эти считали не поштучно, а связками, по сорок в связке, и называли такую связку сороком. Сорок соболей — это была мера, и цена, и богатство. Я услышал это слово в первый же час раз двадцать.

Угол на первую ночь я взял на постоялом дворе у причала, где ночевали все, кто сошёл с судна: общая изба, жаркая, с печью посередине, с нарами вдоль стен, с запахом пота и браги.

Хозяйка двора, широкая баба с красными руками, взяла с меня за ночь столько, сколько на юге брали за неделю, и не торговалась: последний корабль, сказала она, до весны новых не будет, и все, кто сошёл, всё равно заплатят. Говорили тут на том же северном языке, что и во втором городе, только жёстче, короче, с проглоченными концами слов, будто на морозе берегли каждый выдох. Я понимал всё. Мой выговор, чужой во втором городе, тут, среди звероловов и моряков с десяти разных побережий, не выделялся ничем.

Брагу тут пили все.

Это я понял сразу, как вошёл, и понял с тем самым холодком, с каким понимал на этой планете всё, что могло меня выдать. На юге не пил никто из чужих рук — там боялись яда, и мой зарок был там самым обычным делом. А тут пили все, и пили много, и пили из общего ковши, который ходил по кругу, — против холода, говорили, против хвори, против тоски долгих ночей. Тот, кто не пил, был тут либо хворый, либо больной на голову, либо замышлял что-нибудь.

Ковш дошёл до меня через четверть часа.

Я взял его — тяжёлый, деревянный, тёплый от чужих рук, — и сделал то, что делал когда-то у придорожного костра, в самые первые свои дни среди людей, когда ещё не знал языка: прижал край к губам, не разжимая рта, повёл кадыком, будто глотаю, крякнул и передал дальше. Сосед кивнул, довольный. Никто ничего не заметил.

Но я знал, что так можно раз, и два, и десять, а всю зиму — нельзя. Всю зиму кто-нибудь будет сидеть рядом и смотреть.

После ковша стали рассказывать.

Рассказывали матросы с нашего судна: местные сидели вокруг печи и слушали, потому что новые лица здесь бывали раз в год, и новые байки тоже. Рассказывал тот же молодой, что рассказывал на палубе, и рассказывал то же самое, только теперь ещё лучше, потому что уже рассказал раз двадцать и знал, где засмеются, а где замолчат.

Про старика с юга. Про великана при нём. Про то, как за стариком ходит смерть — не нож, не яд, а просто смерть, — и люди ложатся целые, будто уснули. Про Белый город, про святой город, про войско младшего брата, про город на мысу, где старик вошёл в ворота, а следом вошёл мор и взял треть города, а старика не тронул.

Местные слушали и качали головами. Один, старый зверолов с обмороженным носом, сказал, что брешут южане: у них там от жары всё мерещится.

А другой, из купеческих приказчиков, в хорошей лисьей шубе, сказал, что не всё брешут.

— У нас в устье, — сказал он, — летом ещё бумага ходила. Ищут старика-счётчика, северянина. Сбежал с двора от купца, а после него купец помер и двор рухнул. А в конторке после старика нашли листы, а на листах знаки, каких добрые люди не пишут. Чёрная книга, говорят. Ведмары по всем своим конторам розыск разослали.

— Так, может, тот самый и есть, — сказал молодой матрос и засмеялся. — С юга на север. Колдун с чёрной книгой. А великана по дороге съел.

Все засмеялись.

Я сидел на нарах у стены, в своём плаще, и смеялся вместе со всеми, тихо, как смеются старики.

А внутри у меня было то, что было однажды в Белом городе, когда я слушал у скамьи, как меняла читает соседу письмо дома Ведмаров с моими приметами. Холодно и очень внимательно.

Две байки сошлись в этой избе в первый же вечер. Южная, про старика, за которым ходит смерть. И северная, про старика-счётчика с чёрной книгой. Порознь они были смешные. Сложенные вместе, они складывались в одно слово, которого никто в избе пока не сказал.

И сказал его не я, и не матрос, и не приказчик, а старый зверолов с обмороженным носом, — сказал лениво, зевая, уже укладываясь на нары:

— Колдун, значит. Ну, пушай приходит. У нас колдунов в прорубь сажают.

И уснул, и через минуту захрапел.

Я лёг на свои нары, лицом к стене, и до утра не спал.

Кольцо было погашено: в общей избе, где через тебя всю ночь переступают по нужде и к печи, иначе было нельзя. Я лежал на левом боку, левую руку под себя, правую поверх, — старая обозная заслонка, — и считал.

Я считал и другое: как здесь касаются.

На юге не касался никто. В мор меня обходили на три шага. Тут было наоборот. Тут, я видел за один вечер, хлопали друг друга по спине так, что выбивали пыль из шуб, обнимались при встрече, по-медвежьи, обхватив обеими руками, тянули за рукав к ковшу, хватали за плечо, чтобы сказать что-нибудь в ухо, потому что в избе было шумно. В бане, как мне рассказали тут же, парились все вместе, голые, и хлестали друг друга вениками. Северяне грели друг друга телами, как греют друг друга собаки в упряжке, потому что иначе тут было не выжить.

Здесь тот, кто не даёт себя трогать, приметнее того, кто не пьёт.

Я считал, что выбрал этот город потому, что сюда не ходят письма. Письма сюда и правда не ходили. Сюда ходили люди. Матросы с юга, которые везли байку, и приказчики из устья, которые знали розыск. И теперь, в этой избе, они встретились, и через неделю об этом будет говорить весь город, а через месяц — уже не как о байке, а как о том, что все давно знают.

А я заперт здесь до весны.

Это было то же самое, что в городе на мысу, когда закрылись ворота. Только там меня запер мор, а здесь — лёд. И там у меня был балахон, которого боялись касаться. А здесь меня будут касаться все: хлопать по плечу, тянуть к ковшу, обнимать по пьяному делу, потому что здесь так живут.

Что я мог сделать?

Найти угол с дверью и засовом и сидеть в нём всю зиму, как сидят здесь, верно, многие, — долгие ночи, мороз. Работать, если найдётся работа: счётчик нужен всюду, где считают сорока соболей. Не пить, но так, чтобы этого не видели. Не давать себя касаться, но так, чтобы этого тоже не видели. Ждать весны.

А весной — уйти. Куда — я ещё не знал.

План был плохой, но другого не было, и к утру я его принял.

И ещё одно я отметил под утро, когда в избе храпели все, а собаки за стеной выли. Великана при мне больше не было. Старика с великаном, о котором рассказывал матрос, тут не узнал бы никто. Тут сидел просто старик в шерстяном плаще, каких на севере тысячи. Но байка про чёрную книгу шла не за великаном. Она шла за счётчиком. А я был счётчик, и спрятать это было труднее, чем великана: великана можно было убить, а счёт — нет.

Утром я вышел на причал.

Мороз к утру стал злее, и воздух сделался таким, что больно было дышать: он входил в грудь, как вода в пробитый трюм, и выходил паром, который тут же оседал инеем на капюшоне. Бухта за ночь побелела ещё на сотню шагов. Судно наше стояло во льду уже по самый борт, и матросы обкалывали его топорами, чтоб не раздавило.

Было ещё темно — тут зимой светало поздно и темнело рано, и день был короткий, как вздох, — и на причале у нашего судна горели факелы, и при факелах выгружали соль. Корабельщик стоял у сходней со своей дощечкой и с кем-то говорил.

Это был человек в длинной лисьей шубе, подпоясанный ремнём, с острым красным лицом и с инеем на усах. Он держал в руке дощечку корабельщика и водил по ней пальцем в рукавице, читая имена при свете факела. Потом остановил палец и поднял голову.

— Этот, — сказал он корабельщику. — Этот где?

Корабельщик посмотрел, куда он показывает, оглядел причал и кивнул на меня.

Человек в лисьей шубе пошёл ко мне через причал, быстро, по-хозяйски, и, подойдя, снял шапку и поклонился — не низко, но как кланяются тому, кого ждали.

— Ты, что ли, будешь... — сказал он, и назвал то имя, которым меня записали в список. — Счётчик из устья? От Ведмаров?

Я ничего не ответил. Я смотрел на него.

— Мы тебя с осени ждём, — сказал он, улыбаясь всем своим красным лицом. — Хозяин уж думал, не приедешь. Пойдём, отец. Хозяин мой, Будимир, тебе горницу приготовил.

Глава 2. Чужое имя

Я стоял на причале перед человеком в лисьей шубе и считал так быстро, как не считал давно.

Отказаться было можно. Сказать: ошибся, мил человек, я не тот, я сам по себе, старик с юга, плыву зимовать к родне. Только родни у меня тут не было, и дела не было, и угла не было, и всякий, кто услышит, что старик приплыл в пушной город на последнем корабле ни за чем, спросит, зачем. А я уже записан в список под этим именем. Скажи я, что я не тот, — и тут же спросят, кто же я тогда, и почему назвался так, и чем докажу. А доказать мне было нечем, кроме того, что я ничего не знаю.

Согласиться было тоже можно.

Согласиться значило получить готовое. Готовую причину, по которой я здесь. Готовое ремесло, которое я знаю лучше любого, кто его тут видел: счётчик, сверяющий чужие книги, — это я делал у Ставра, у Ортана, в обозе младшего брата. Готовый угол. Готовый хлеб. Готовую легенду, которую не надо было сочинять: её сочинили за меня, и сочинили хорошо, потому что сочиняли правду.

Первое моё правило было — не сочинять ничего сверх необходимого. Тут мне не нужно было сочинять вовсе.

Опасность была одна, и я её видел. Того, кого ждали, могли знать в лицо. Но меня позвали по имени из списка, а не по лицу. Значит, в лицо его тут не знал никто.

И ещё одна опасность была — что настоящий приедет. Но бухта вставала. Морем до весны не приедет никто. А санный путь, как сказал корабельщик, откроется, когда встанет снег, не раньше середины зимы.

— Я, — сказал я. — Задержали в дороге. Пойдём.

Человек в лисьей шубе обрадовался так, будто я вернул ему долг.

Звали его Мокей, он был у Будимира старшим приказчиком, и говорил он всю дорогу от причала до хозяйского двора, не переставая, а я шёл рядом и слушал, и складывал всё, что он говорил, как складывал когда-то у скамьи Ортана.

Будимир, говорил Мокей, — первый скупщик в городе. Каждую осень дом Ведмаров из устья даёт ему серебро вперёд, много серебра, чтобы он раздал звероловам задаток. Звероловы уходят в лес, ставят ловушки, а весной приносят меха, и Будимир принимает меха в счёт задатка, а весной отправляет весь мех в устье, дому, первым же судном. Так заведено десять лет. А в последние два года, говорил Мокей, понизив голос, дом стал недоволен: мехов к весне приходит меньше, чем дом ждал за свои деньги. Дом и написал ещё летом, что пришлёт счётчика — сверить книги за два года, пока зима и меха лежат в амбарах.

— Хозяин говорит, звероловы ленятся, — сказал Мокей. — И зверь ушёл. Это всё зверь ушёл.

Я сказал, что посмотрим.

А думал я о другом. Я думал, что меня, по имени, прислал дом Ведмаров. Тот самый дом, что разослал мои приметы во все свои конторы от Белого города до устья северной реки. Тот самый дом, чей старший счётчик лежит в яме у моря с моей строкой в книге мёртвых над ним. Тот самый дом, чей ларец с золотом я выгреб в разгроме войска.

Я шёл по снегу в пушном городе как человек этого дома.

Город просыпался вокруг нас, если можно назвать пробуждением то, что делается тут затемно. Из изб выходили люди с вёдрами к прорубям, которые были пробиты во льду у самого берега и обставлены вешками, чтоб не провалиться. У прорубей стояли бабы, и черпали, и несли воду вверх, и вода в вёдрах на ходу покрывалась льдом. На площади у амбаров уже

разводили костры для торга. Мимо проехали сани, запряжённые шестью собаками, и в санях сидел человек, закутанный так, что видна была только борода, вся белая от инея.

Мокей показывал мне город, как показывают своё: вот сход, изба, где сидят старейшины и судят, — тут свой суд, не боярский и не баронский, тут бояр нет, тут купцы сами себе хозяева; вот бани вдоль берега, топят по субботам все разом, и тогда весь берег в дыму; вот кабак, где сидят звероловы, когда приходят из леса; вот амбары Будимира, самые большие, четыре в ряд.

— А там, — сказал он и показал рукой на лес, который стоял за частоколом, чёрный, до самого края неба, — там зимовья. Звероловы в них сидят до весны. Туда ходу три дня, а то и пять. Туда только на собаках.

Я посмотрел на лес и запомнил.

Двор Будимира стоял наверху, над амбарами, за отдельным частоколом, и был это не двор, а целая усадьба. Хоромы в два жилья, из толстых брёвен, тёмных от времени, с резным крыльцом, с высокой крышей, с которой свисали сосульки в руку длиной. Вокруг — амбары, клетки, баня, конюшня, псарня. Во дворе ходили работники в тулупах и лаяли собаки, и над всем этим стоял дым из трёх труб.

Сам Будимир вышел на крыльцо встречать.

Он был огромный — не ростом, а шириной: толстый, как бочка, в медвежьей шубе нараспашку, под которой виднелась красная шёлковая рубаха, с рыжей бородой лопатой, с маленькими быстрыми глазками в красных веках, с перстнями на всех пальцах. Голос у него был такой, что собаки во дворе замолкали, когда он говорил.

— Приехал! — закричал он с крыльца. — Приехал, дорогой! А я уж думал, утоп!

И сошёл с крыльца, и пошёл ко мне через двор, раскинув руки.

Я понял, что сейчас будет, за три шага до того, как это случилось, и успел — через рукав, правой рукой по левому запястью, будто поправляя рукавицу, — нащупать кнопку. Погашена. Я погасил её ещё на постоялом дворе, до рассвета, лёжа, и проверял потом трижды, но проверил ещё раз.

Будимир обнял меня.

Обнял так, как обнимают тут: обеими руками, во всю ширь, прижав к шубе так, что у меня хрустнуло в спине, и приподнял над снегом, и поставил, и хлопнул по плечу, и опять обнял. От него пахло брагой, луком и медвежьей шкурой.

— Худой какой! — сказал он. — Ну ничего, откормим. У меня до весны поправишься. Мокей, горницу ему, ту, верхнюю. И баню к вечеру.

Я поблагодарил и сказал, что баню не надо: стар, сердце не держит пара.

Он засмеялся и сказал, что северянину без бани как рыбе без воды, но неволить не стал.

Горница была наверху, в верхнем жилье, — светлая, с двумя окнами, затянутыми слюдой, с печью, выложенной изразцами, с широкой лавкой, покрытой медвежьей шкурой, со столом у окна. Дверь закрывалась на деревянную щеколду. Я спросил у Мокея, нельзя ли засов.

Мокей удивился.

— Засов? От кого ж тут запирается, отец? У хозяина двор, кругом свои.

Я сказал, что привычка. Что я сплю плохо и просыпаюсь от всякого шороха, а за засовом сплю.

Мокей пожал плечами, сходил куда-то и принёс тяжёлый железный засов со скобами, и сам вбил скобы в косяк, ворча, что такого у них отродясь не бывало. Засов был хороший. Я подёргал его и остался доволен.

Ночью, подумал я, глядя на этот засов, я смогу здесь нажимать кнопку. За засовом, в горнице на втором жилье, куда никто не ходит без дела, где через меня никто не станет переступать. Это было первое, что я получил от чужого имени, и это было больше, чем горница, и больше, чем хлеб.

Двор жил своей жизнью, и я, пока шёл к крыльцу, видел её всю. Работники таскали дрова из поленницы в избу, бабы носили вёдра. В псарне выли собаки, большие, лохматые, с белыми глазами, — Мокей сказал, что это ездовые, хозяйские, лучшие в городе. У бани колот лёд мальчишка. На крыльце стояла рыжая девка и смотрела на меня, пока Будимир меня тискал, и, когда я на неё взглянул, ушла в дом.

За обедом я увидел всю семью.

Будимир сидел во главе стола. По правую руку — жена, тихая, полная, с опущенными глазами, которая за весь обед не сказала ни слова. По левую — дочь, рыжая, в отца, и её муж, зять, — молодой, крепкий, румяный, с громким смехом и быстрыми руками, который пил больше всех и всякий раз, наливая себе, наливал и соседу, не спрашивая. Дальше — Мокей, писец, двое старших работников. А в конце стола, на почётном месте, — я.

Ели из общей миски, по очереди, деревянными ложками. Это меня не тревожило: из общей миски не отравишь одного.

А потом зять потянулся налить и мне.

Я накрыл свою чарку ладонью.

— Не пью, — сказал я. — Зарок. Когда тонул, давал.

За столом стало тихо. Зять поднял брови и засмеялся.

— Зарок? Ревизор, а не пьёт! Да кто ж тебе поверит, отец? В устье, говорят, ревизоры пьют, как рыбы.

— Цыц, — сказал Будимир.

Он сказал это негромко, но зять сразу замолчал. Будимир посмотрел на меня своими маленькими глазками, и в глазах этих было что-то, чего я тогда не понял, а понял только через три дня.

— Ревизору можно, — сказал он, улыбаясь всей бородой. — Ревизору голова нужна трезвая. Пусть не пьёт. Нам больше останется.

И все засмеялись, и зять засмеялся тоже, и налил себе.

Зять, впрочем, не унялся. Он ещё дважды за обед подмигивал мне через стол и поднимал свою чарку, и дважды говорил вслух, что ревизор, который не пьёт, — это не ревизор, а поп, и что попов в пушном городе не любят. Дочь Будимира, его жена, дёргала его за рукав. Он смеялся. Я понял про него за этот обед всё, что нужно было понять: он был молод, глуп, громок, любил, чтобы на него смотрели, и считал, что тесть его вечен.

Я отметил тогда, что Будимир согласился слишком легко. На севере, где отказ от чарки — обида хозяину, хозяин, которого обидели при всей семье, так легко не соглашается. Если только ему не надо, чтобы гость был им доволен.

После обеда Будимир сам показал мне книги.

Он принёс их в горницу и сложил на стол — четыре толстые книги в кожаных переплётах, засаленных, с медными застёжками. Две — за прошлый год, две — за позапрошлый. В одних был записан приход: сколько серебра дал дом, сколько роздано звероловам задатком, кому, сколько. В других — расход: сколько мехов принято от звероловов, каких, по какой цене, сколько отправлено в устье, на каком судне.

— Смотри, считай, — сказал Будимир. — Мокей тебе всё покажет, писец тоже. Сколько надо, столько и смотри. Хоть до весны.

Он хлопнул меня по плечу — правому, — и ушёл, и было слышно, как он спускается по лестнице и кричит на кого-то вниз.

Я остался один в горнице и долго стоял у окна, глядя сквозь мутную слюду на двор, на дым, на собак.

Я носил чужое имя.

Я носил его и прежде — неделю, на корабле, — но там это было просто слово, записанное на дощечку. А тут это имя было человеком. Его ждали с осени. Ему приготовили горницу.

Для него на столе лежали книги. Его встречали, обнимая, его кормили, ему наливали. И всё это досталось мне, как досталась когда-то, на первой дороге, одежда первого моего путника: тёплая, ношенная, пропахшая чужим потом, снятая с того, кто в ней больше не нуждался.

Только тот путник лежал в промоине, и я знал, где. А где был тот, чьё имя я носил, я не знал. Он не приехал. Почему — я не знал. И пока я этого не знал, я не знал и того, когда и откуда он может появиться.

Я сел за стол и открыл первую книгу.

Почерк был ровный, писарский, буквы мелкие, — писали тем же северным письмом, какому учил меня когда-то Лунь, и я читал без труда. Я листал медленно, страницу за страницей, не считая пока, а только глядя: как пишут, что пишут, где пишут гуще, где реже. Так я смотрел когда-то на связки Гуртовых записей у Ставра, прежде чем начать считать. Сперва надо увидеть, как человек ведёт книгу, а уж потом — что он в ней ведёт.

Одно я отметил сразу, ещё не считая.

В конце позапрошлого года, на последнем листе книги расхода, под итогом, стояла подпись — не писца, другая, и рядом слово: сверено. Сверял, стало быть, кто-то и тогда. Я спросил у Мокея, когда он заглянул, чья это рука. Мокей посмотрел, сказал, что это прежний ревизор из устья, что приезжал позапрошлой зимой, и что нехорошо с ним вышло, — и ушёл, не сказав, что нехорошо.

Стемнело в тот день, как стемнело бы у нас на юге к вечеру, — вскоре после полудня. Мокей принёс свечи.

И, ставя их на стол, вынул из-за пазухи сложенное письмо.

— Чуть не забыл, отец, — сказал он. — Тебе. С осени лежит. С последним летним судном пришло из устья, на твоё имя, к нам на двор. Хозяин велел беречь до твоего приезда.

Я взял письмо.

Оно было запечатано воском, и на воске был оттиснут знак — круг, а в нём три черты. Знак дома Ведмаров.

Я сломал печать, когда Мокей ушёл, и прочёл письмо при свечах, медленно, два раза.

Это была рука конторщика из устья, ровная, деловая. Северная контора дома писала своему счётчику, что ему делать в пушном городе: свести книги Будимира за два года, пересчитать меха в амбарах, сверить с отправленным, и, если найдётся недостача, держать Будимира под рукой до весны и отписать в устье с первой санной почтой.

А в самом низу, под подписью, другой рукой — мелкой, торопливой, с сильным нажимом, — было приписано ещё несколько строк.

И смотри там. По розыску ищем старика-счётчика, северянина, лет пятидесяти пяти, худого, который не пьёт ни капли и не даёт себя касаться. Вор и чернокнижник. Если объявится в пушном городе — взять и держать до весны. Награда от дома.

Я сидел над этим письмом долго, и свеча оплыла наполовину.

Приписка была не той рукой, что письмо. Письмо писал конторщик — ровно, спокойно, как пишут сто писем в месяц. А приписку писал другой человек — торопливо, с таким нажимом, что перо в двух местах прорвало бумагу. Человек, которому было не всё равно. Человек, который, приписывая эти строки, злился. Кто он — я не знал. Но руку эту я запомнил так, как запоминаю всё, что может пригодиться: длинные хвосты у букв, наклон влево, буква с завитком, какую так не пишет никто, кроме того, кто её так пишет.

Дом Ведмаров прислал своего человека в пушной город, чтобы этот человек поймал старика-счётчика, который не пьёт.

Этим человеком был я.

Глава 3. Сорок соболей

Первую ночь в горнице я спал так, как не спал с города на мысу.

Я задвинул засов, проверил его дважды, лёг на лавку под медвежью шкуру и нажал кнопку. За стеной трещал мороз — тут он трещал по-настоящему, как трещит лёд на реке, — брёвна хором постанывали, внизу кто-то храпел, в псарне выли собаки. А я лежал за засовом, на втором жилье, куда никто не ходит без дела, и знал, что всякий, кто ночью войдёт ко мне, отсюда не выйдет. И уснул.

Проснулся я, когда было ещё темно, — здесь всегда было темно, — погасил кольцо, не вставая, проверил четыре раза и сел за книги.

Темнота эта была главное, что я понял о севере в первые дни. Солнце здесь зимой поднималось над лесом невысоко, на ладонь, ходило низко, краем, как ходит вор вдоль забора, и через три или четыре часа уходило обратно, и снова наступала ночь. Люди жили при огне — при лучинах, при свечах, при печах. Работали при огне, ели при огне, торговали при огне на площади, где жгли костры. Днём, как я его понимал, тут было часа три. Всё прочее была ночь.

А ночь была моим временем всю мою жизнь на этой планете. Ночью я спал под кольцом. Ночью приходили ко мне те, кто хотел взять, и ложились. Ночью улицы становились дорогой. Тут ночь длилась почти всегда, — и я подумал, что это будет либо самая лёгкая моя зима, либо последняя.

Работа эта была мне знакома так, как знакома рука собственная.

Я делал её у Ставра, когда сидел над связками Гуртовых записей девятнадцать вечеров. Я делал её в обозе младшего брата, сводя хлеб со списками. Я делал её, в сущности, всю свою жизнь, ещё там, в своём мире, когда сводил расход воды и воздуха на корабле с тем, что должно было остаться. Всякая книга — это рассказ о том, как должно было быть. А всякий амбар — о том, как было. Счётчик кладёт их рядом и ищет, где они не сходятся.

Книги Будимира сходились.

Это я увидел к полудню первого дня, и увидел с тем самым холодком, с каким видел когда-то, что у Ставра сходится слишком хорошо. Приход сходился с расходом. Серебро, данное домом, — с задатками звероловам. Задатки — с мехами, принятыми весной. Меха — с тем, что ушло в устье. Всё сходилось до соболя, до медяка, и каждый год, и каждую весну.

Только мехов каждый год уходило в устье меньше, чем дом давал на них серебра.

И объяснение этому в книгах тоже было, и было оно записано честно, на своём месте, той же ровной писарской рукой: порча.

Порча шла по всем книгам, как ржавчина по железу. Столько-то сороков куницы — моль. Столько-то лисы — сырость, мех сопрел в амбаре. Столько-то соболя — плохая мездра, звероловы худо выделали, мех лезет. Столько-то — мыши. Порченный мех не отправляли в устье, а продавали тут же, летом, южным скупщикам, за бесценнок, и бесценнок этот тоже был записан, честно, в приход, как деньги дома.

Каждый год порчи выходило около пятой части всего меха.

Я не знал, много это или мало. Я не был скупщиком. Но я знал другое: у Ставра на дворе утечка тоже была записана честно, с законным объяснением всякий раз, — просыпь, усушка, дожди, распутица. И у Ставра тоже выходило не много и не мало, а ровно столько, чтобы хозяин недоволен, но не встревожен.

На второй день я пошёл в амбары.

Мокей ходил со мной, и писец Будимира ходил тоже, — тихий, сутулый человек средних лет, в очках, каких я не видел ни у кого на этой планете, — две стеклянные бляшки в медной оправе на носу, — и с такими пальцами, будто их вымочили в чернилах навсегда. Звали его

Тит. Он держал в руках дощечку и молчал, а когда я спрашивал, отвечал коротко и смотрел при этом мимо меня.

Я смотрел, как он пишет, — смотрел, как смотрю на всякого, кто пишет при мне, потому что рука говорит о человеке больше, чем лицо. Тит писал быстро, ровно, не задумываясь, как пишут люди, которые пишут всю жизнь одно и то же. И в каждой строке, в каждом прозвище, где была одна определённая буква, ставил под ней мелкий крючок, хвостик, загнутый влево, — ставил, не замечая, как не замечает человек, что прихрамывает. Я отметил этот крючок в первый же час и запомнил, сам не зная зачем.

В амбарах было холодно так, что мех на полках стоял колом.

Он лежал связками, по сорок шкурок в связке, перевязанными ремешком, и связки эти лежали рядами на полках до самого потолка, и пахли так, как пахнет мех, — зверем, дымом и чем-то сладковатым. Я пересчитывал их связками, как пересчитывал когда-то мешки у Ставра, по рядам, а потом по кучам, разными способами, — и всякий раз, когда не сходилось, искал свою прореху до конца.

Меха в амбарах было ровно столько, сколько записано в книгах за прошлую осень.

Ни сорока больше, ни сорока меньше.

Я стоял в холодном амбаре, глядя на эти полки, и думал, что Будимир не дурак. Тот, кто ворует у дома, ворует не в амбаре. В амбаре у него всё сходится, потому что амбар ревизор пересчитает первым. Воруют там, куда ревизор не ходит.

А куда не ходит ревизор?

Туда, откуда мех приходит в амбар. В лес. К звероловам.

Вечером я пошёл в кабак.

Кабак звероловов стоял у самого частокола, низкий, вросший в снег по окна, с одной дверью, обитой войлоком, и внутри было так жарко и так накурено от печи, что я не сразу разглядел людей. Звероловы сидели по лавкам, бородатые, в шкурах, и пили, и молчали больше, чем говорили. Это были не те, что сидели теперь в зимовьях, — те до весны не выйдут из леса, — а те, кто пришёл в город за солью, за железом для капканов, за хлебом.

Я сел у стены, взял себе квасу, — квас тут пили вместо воды, и квас мне было можно, потому что его квасили в общей бочке, — и стал слушать.

Говорили о звере, о снеге, о волках, которых в эту зиму, говорили, много, — и о Будимире.

О Будимире говорили так, как говорят о хозяине, который тебя кормит и которого ты не любишь. Дал задаток — хорошо. Принял мех — хорошо. А только принимает он мех, как волк ягнёнка: что ни принеси — то худо выделано, то моль, то сырой, и платит за сорок, будто за тридцать.

Один из них, старый, однорукий, сидел рядом со мной и пил молча. Руку, сказал он мне потом, ему отхватил собственный капкан, на медведя, двадцать зим назад: поскользнулся у ловушки, рука попала, и он сутки сидел в снегу, прикованный к своему же железу, пока не решился. Решился ножом. С тех пор ставил только на соболя и куницу, одной рукой, и жил в зимовье с сыном. Потом заметил, что я не пью браги, а пью квас, и спросил, отчего. Я сказал, что зарок. Он кивнул, — у звероловов, как я узнал потом, зарок дают многие, когда остаются одни в лесу на зиму, и никто над этим не смеётся, — и стал говорить со мной.

Я спросил его, как они сдают мех Будимиру и как считают.

Он полез за пазуху и вынул палку.

Это была деревянная палка длиной в две ладони, расколота вдоль пополам, и на обеих половинах, поперёк, по краю, шли зарубки — мелкие и крупные, в ряд. Он показал мне одну половину и сказал, что вторая — у Будимира. Когда зверолов сдаёт мех, они складывают обе половины вместе и делают зарубку разом через обе: мелкая — шкурка, крупная — сорок.

Потом расходятся, и у каждого остаётся своя половина, и ни один не может потом ни прибавить, ни убавить, потому что зарубки должны сходиться.

Бирка.

Я видел похожее когда-то, в первом городе, когда подслушивал у складов, но там палки рубили на мешки, и я не понимал тогда ни слова. Тут я понимал всё.

Я взял её в руки и смотрел долго. Я видел в своей жизни сотни способов вести счёт, и этот был самый простой из всех, и самый честный. Его нельзя подделать: половины сходятся только друг с другом. Его нельзя потерять, не потеряв и свою правду.

Я пересчитал зарубки. Шесть сороков соболя и ещё одиннадцать шкурок. Это было то, что однорукий сдал Будимиру прошлой весной.

А в книге Будимира, как я помнил, — я помнил всё, что читал, — у этого зверолова, записанного по прозвищу, стояло за прошлую весну: пять сороков соболя, и сорок из них — порча, мездра худая.

Четыре сорока хорошего соболя вместо шести. Два сорока соболя — это столько, сколько однорукий со своим сыном ловил за ползимы, сидя в зимовье в лесу, где нет ничего, кроме снега, волков и тишины.

Однорукий не знал, что записано в книге. Он не умел читать. Он знал только свою бирку.

Я вернул ему бирку и поблагодарил, и он спрятал её за пазуху, как прячут самое дорогое, и мы ещё посидели, и я ушёл.

Схема была простая, как всё, что работает долго. Будимир принимал мех по бирке, честно, с зарубками, — и в амбар клал столько, сколько по бирке. А в книгу писал меньше, и разницу записывал в порчу. Порченный мех, которого не было, летом будто бы продавали южанам за бесценок. А хороший мех, который был, летом же уходил к тем же южанам, но не за бесценок. Дом получал книгу, где всё сходилось, и порчу, которую нельзя проверить, потому что порченный мех продан и его больше нет.

Проверить можно было только одним: сложить бирки звероловов с книгой.

А бирки были в лесу, у звероловов, в зимовьях. До весны.

Возвращаясь, я считал, что мне делать.

Письмо дома велело: найдётся недостача — держать Будимира до весны и отписать в устье с первой санной почтой. Недостача нашлась. Только держать Будимира было нечем. Будимир держал этот город: его серебро было у звероловов, его амбары стояли на берегу, его люди сидели на сходе. А ревизор дома был один — старик с доской, в горнице, куда приказчик сам вбил засов.

И доказать недостачу было нечем, пока бирки в лесу. А в лес ведёт одна дорога — та, по которой уехал Домаш.

Я вернулся на двор поздно. Будимир ждал меня внизу, у печи, с ковшом.

— Ну что, ревизор? — сказал он весело. — Сходится?

— Сходится, — сказал я.

Он посмотрел на меня своими маленькими глазками, долго, — и засмеялся.

— А я что говорил! Зверь ушёл. Иди спать, отец.

Зять сидел тут же, у печи, на лавке, красный от браги, и, когда я проходил мимо, сказал мне в спину громко, чтобы слышали все:

— Ещё один трезвенник. Прежний тоже не пил. Тоже всё ходил, считал. Досчитался.

Будимир не сказал ему цыц. Будимир засмеялся, и зять засмеялся, и работники засмеялись, — и смех этот был такой, каким смеются над шуткой, которую все знают, кроме одного.

Я поднялся к себе. Задвинул засов. Но спать не лёг, а сел за книги ещё раз, при свече, и открыл позапрошлый год, последний лист, где стояла подпись прежнего ревизора и слово: сверено.

Мокей сказал: нехорошо с ним вышло.

Я спросил его об этом утром, как бы между делом, и Мокей, помявшись, рассказал. Прежний ревизор, тоже из устья, приезжал позапрошлой зимой, жил в этой же горнице, сверял книги. Звали его Домаш. А в конце зимы, когда пошёл санный путь, он поехал с людьми Будимира в лес, в зимовья, — сам захотел, сказал Мокей, посмотреть, как звероловы живут, — и не вернулся. На обратном пути отстал от саней в метель. Нашли потом его шубу, порванную, в крови, и волчьи следы. Волков в ту зиму было много.

Сам захотел посмотреть, как звероловы живут.

То есть захотел посмотреть их бирки.

Я сидел над последним листом позапрошлого года и смотрел на подпись. Сверено, и имя, и ниже — число. Подпись была ровная, твёрдая, хорошая подпись человека, который писал много.

А над подписью стояли итоги года.

И в итогах года была весенняя приёмка — меха, которые звероловы приносят из леса весной, когда сходит снег и ломается санный путь. Приёмка эта была записана в книгу той же писарской рукой, что всё прочее, с числами, с прозвищами звероловов, — и последняя её строка была датирована серединой весны.

А Домаш, по словам Мокея, пропал в конце зимы, когда пошёл санный путь.

Он подписал итоги, в которые вошла весна, которой он не видел.

Я поднёс свечу ближе.

Подпись была ровная и твёрдая. Но буква в начале имени Домаша была написана с тем самым мелким крючком внизу, какой ставил в каждой строке писец Будимира Тит. Я видел этот крючок двое суток подряд, на каждой странице, в каждом прозвище каждого зверолова. Так этот крючок не ставит больше никто: это была его рука, как бывает у человека своя походка.

Домаш ничего не сверял. Его подпись поставил Тит, после того как Домаш пропал, — под итогами, которые Домаш уже не мог увидеть.

Значит, Домаш не отстал от саней в метель. Его увезли в лес, чтобы он не сложил бирки с книгой. И порванная шуба в крови, и волчьи следы — это была та самая простая причина, телесная, такая, что проверять её неприятно, которую я сам всю жизнь подсовывал людям.

Будимир делал то же, что я.

Я закрыл книгу и сидел, глядя на свечу.

За полночь кто-то поднялся по лестнице.

Шаги были тихие, осторожные, в мягкой обуви, — так ходят по дому, где все спят, люди, которые не хотят никого будить. Шаги дошли до моей двери и остановились. Я сидел за столом, не шевелясь, и смотрел на засов. Кольцо было включено: я нажал кнопку, как только сел за книги ночью.

За дверью постояли. Потом я увидел, как шевельнулась щеколда — та, деревянная, что была на двери до засова, — шевельнулась, приподнялась и опустилась. Дверь не подалась: её держал засов.

За дверью постояли ещё. Потом шаги ушли вниз.

Кто это был и зачем, я не знал. Может, работник, проверявший, спит ли ревизор. Может, сам Будимир. Может, Тит, которому не спалось. Но я знал, что засов, который Мокей вбил ворча, сделал в ту ночь больше, чем всё моё кольцо: он не пустил никого, кто мог бы потом рассказать, что видел в горнице.

Хозяин, который обнял меня у крыльца, накормил, дал горницу и засов и сказал, что ревизору можно не пить, — убил прежнего ревизора, когда тот захотел посмотреть бирки.

А я был следующий ревизор.

Глава 4. Братина

Будимир объявил пир через три дня, в субботу, после бани.

Он объявил его за обедом, громко, на весь стол, и сказал, что пир будет в честь ревизора, который приплыл из устья на последнем корабле и чуть не утоп, и что пусть весь город знает, как Будимир встречает людей дома. Позовёт старейшин со схода. Позовёт соседей-скупщиков. Позовёт корабельщика, который меня привёз, пока тот не ушёл на зимовку. Зарежет кабана.

Я поблагодарил и сказал, что недостойн.

Он засмеялся, как смеялся всегда, и хлопнул меня по плечу.

А я сидел и думал, что пир — это не то, что я ждал.

Я ждал, что он предложит деньги. Так делают все, кто ворует у хозяина, когда к ним приезжает хозяйский счётчик: сперва показывают, что всё сходится, потом, когда видят, что счётчик не дурак, — предлагают долю. Меня пробовали купить так во втором городе, на двоих, и я отказывал. Тут я, может, и не отказал бы — смотря как и сколько. Но Будимир не предлагал ничего. Он кормил, поил тех, кто пил, хлопал по плечу и смеялся. Он не спрашивал, что я нашёл. После того вечера, когда я сказал ему, что всё сходится, он ни разу не спросил.

Тот, кто ворует и не пробует купить ревизора, — либо уверен, что ревизор ничего не найдёт, либо уверен, что ревизор ничего не скажет.

Домаш ничего не сказал.

Эти три дня я жил так, как живут на чужом корабле, с которого не сойдёшь.

Днём сидел над книгами, при свечах, и делал вид, что считаю то, что давно сосчитал. Ел только из общей миски, когда ели все, и только после того, как зачерпнули другие. Воду брал сам, из бадьи в сенях, куда её приносили с проруби для всего двора, — из бадьи пили все, и отравить в ней одного было нельзя. Квас пил там же. Ночью спал за засовом, под кольцом, и дважды за эти три ночи слышал на лестнице шаги, и оба раза шаги доходили до моей двери, стояли и уходили.

На второй день из леса пришёл сын однорукого, — молодой, косматый, на собаках, с санями, гружёнными куницей, — пришёл за солью и за задатком на вторую половину зимы, и сдал Будимиру то, что наловил с осени. Я стоял в амбаре с доской, как ревизор, и смотрел, как сдают.

Будимир сам принимал. Брал связки, встряхивал, дул в мех, кивал. Потом сын однорукого вынул свою половину бирки, Будимир — свою, их сложили, и Тит резал ножом зарубки разом через обе, — мелкая, мелкая, мелкая, крупная, — и я считал зарубки вместе с ним. Три сорока куницы и девять. А вечером, когда Тит вписывал приёмку в книгу при мне, он вписал: два сорока куницы и девять, и сорок — порча, мездра сырая.

Он вписывал это при мне. При ревизоре дома. И не дрогнул, и не посмотрел на меня.

Так пишут, когда знают, что ревизор этого никому не покажет.

Тит не поднимал на меня глаз.

Однажды, когда мы остались в горнице вдвоём над книгой, он перевернул страницу, на которой была подпись Домаша, перевернул быстро, будто обжёгся, — и рука у него дрогнула. Я не сказал ничего. Он тоже. Но я понял, что он знает, что я видел, и что он боится не меня, а того, что будет, когда я это скажу. А ещё больше он боялся того, что будет со мной до того, как я это скажу.

В пятницу вечером я спустился вниз за водой и застал в сенях дочь Будимира.

Она стояла у бадьи с ковшом в руке и, увидев меня, вздрогнула и отступила. Рыжая, как отец, с тяжёлыми веками, с синяком на скуле, который она прятала, отворачиваясь к свету. Синяк я видел и прежде, на второй день, и подумал тогда, что такие синяки на севере не ред-

кость у жён, чьи мужья пьют. Она подождала, пока я наберу воды, и ушла наверх, ни слова не сказав.

Я отметил её и отложил. Мне было не до неё.

В субботу город парился.

Бани вдоль берега затопили с утра, и весь берег был в дыму, как будто горел. Люди выбегали из бань голые, красные, в клубах пара, и валились в снег, и бежали обратно, крича, и над берегом стоял крик, как над торгом. Будимир звал меня в свою баню трижды, и трижды я говорил, что сердце, и он трижды смеялся.

Мылся я, как мылся в Белом городе, — ночью, у себя за засовом, тёплой водой из ведра, которое приносил наверх сам. Кольцо при этом лежало у меня на руке, мокрое, и я вытирал его досуха, прежде чем натянуть рукав. Тут, на севере, мыться так, тайком, было ещё приметнее, чем на юге: тут в баню ходили все, и тот, кто не ходил, был либо хворый, либо брезговал своими, либо прятал что-то под рубахой. Я знал, что про меня уже говорят все три.

А вечером был пир.

Горница на нижнем жилье, самая большая, была уставлена столами в три ряда, и столы ломились — кабан целиком, с яблоком во рту, рыба, пироги, каша в горшках, мёд в сотах, солёные грибы, капуста. Свечей было столько, что было светло, как днём. Гостей было человек сорок: старейшины со схода, в дорогих шубах, скупщики-соседи, корабельщик со своим кормчим, Мокей, Тит, работники постарше. И вся семья.

Меня посадили по правую руку от Будимира, на место жены. Жена села дальше.

За столом говорили, как говорят на всех пирах, — о мехах, о звере, о волках, о том, что лёд в этом году встал рано. А потом один из соседей-скупщиков, сухой старик с птичьим лицом, вспомнил байку, которую на этой неделе рассказывали в кабаке, — про старика с юга, за которым ходит смерть, — и рассказал её заново, смешно, с прибаутками, и все смеялись.

— А у нас вон ревизор с юга, — сказал кто-то с дальнего конца. — Тоже не пьёт.

Все засмеялись снова, громче, и посмотрели на меня. Будимир засмеялся громче всех и сказал, что его ревизор мухи не обидит, что он старый, тихий и считает лучше всех в устье, и что колдунов дом Ведмаров на службу не берёт. И налил себе ещё.

Я смеялся вместе со всеми, тихо, и считал, сколько человек за этим столом запомнит, что я не пью.

Пили сперва из чарок, кто что, — брагу, мёд, квас, — и я пил квас из общего кувшина, который стоял посередине стола и из которого наливали себе все, кто не хотел крепкого. Потом, когда съели кабана, Будимир встал и велел нести братину.

Братина была большая серебряная чаша, с двумя ручками, с чеканкой по бокам, — Мокей сказал мне потом, что она стоит больше, чем весь пир. Её несли двое работников, полную до краёв мёдом, тёмным и густым, и поставили перед Будимиром. Будимир поднял её обеими руками, сказал, что пьёт за дом Ведмаров и за его ревизора, отпил долго, по-хозяйски, и передал соседу слева. Тот отпил и передал дальше.

Братина пошла по кругу, от губ к губам, и мёд стекал у людей по бородам и капал на столы.

Это был обычай, и обычай этот я понял, глядя, как она идёт: из одной чаши пьют все, и всякий, кто отказывается пить из братины, отказывается быть со всеми. Отказаться от братины — значило сказать за столом, что ты не свой. Хуже, чем не пить. Это было как плюнуть в чашу.

Я считал, что сделаю, когда она дойдёт до меня. Прижму край к губам, не разжимая рта, поведу кадыком, крикну. Как у придорожного костра. Как у печи на постоялом дворе. Из братины, из которой пьют все, отравить одного нельзя, — если она дойдёт до меня, бояться её нечего, кроме того, что заметят, что я не глотаю.

Братина шла медленно, и все за столом смотрели, как она идёт, и пели что-то, и стучали чарками.

Только до меня она не дошла.

Когда она обошла половину стола и шла к последним, Будимир поднял руку, и работник поставил передо мной на стол отдельную чарку — серебряную, маленькую, с той же чеканкой, что братина. А наливать подошла дочь Будимира, с отдельным кувшином в руках, — гостю, сказали мне, наливает хозяйская дочь, так у них заведено, — и налила, не поднимая глаз, и отошла к мужу. Мёд был такой же тёмный.

— А это гостю, — сказал Будимир громко, чтобы слышали все. — Гостю из братины не подносят, гостю — своя чарка. Так у нас заведено, отец. За дом! За ревизора!

И все закричали: за ревизора!

Я посмотрел на чарку.

Она стояла передо мной, полная, и мёд в ней был тёмный и густой, и на поверхности его отражались свечи. Гостю — своя чарка. Своя.

Не было на севере такого обычая. Я прожил на севере три зимы, во втором городе, и видел свадьбу у Ставра, где братину подносили и гостям, и чужим, и самому мне, — и я тогда, помнится, прижимал к ней губы, не разжимая рта. Своя чарка гостю — это не обычай. Это чарка, в которой не то, что в братине.

Я накрыл её ладонью.

— Не пью, — сказал я. — Зарок. Ты знаешь, хозяин. Когда тонул, давал.

За столом стало тихо. Сорок человек смотрели на меня. Старейшины со схода смотрели. Корабельщик смотрел. Будимир смотрел, и улыбка у него в бороде стала деревянной.

— Обидишь, отец, — сказал он негромко. — При всём сходе обидишь.

— Не обижу, — сказал я. — Обижу, если нарушу зарок. Море придёт за мной.

Тут вмешался зять.

Он сидел через два места от меня, красный, весёлый, пьяный уже до той стадии, когда человеку кажется, что он всех веселее и всех умнее. Весь вечер он поглядывал на меня и подмигивал соседям. А тут поднялся, перегнулся через стол, снял мою ладонь с чарки — снял за запястье, за правую мою руку, слава всему, — и сказал на весь стол:

— Не пьёт ревизор — так я за него выпью! Чтоб дом не обиделся!

И выпил мою чарку до дна, одним глотком, и поставил её вверх дном на стол, и засмеялся, и весь стол засмеялся вместе с ним.

Не засмеялся один Будимир.

Я видел его лицо. Я смотрел на него, а не на зятя, потому что знал, на кого надо смотреть. Лицо у Будимира стало такое, каким бывает лицо у человека, который увидел, как его собственный дом загорелся от свечи, которую он сам поставил. Глаза его, маленькие, в красных веках, расширились, и он открыл рот, будто хотел крикнуть, — и не крикнул. Он не мог крикнуть. Крикнуть значило сказать при всём сходе, что в чарке было то, что не должен пить никто.

Зять сел на место и потянулся за пирогом.

А потом рука его остановилась над пирогом и упала на стол. И сам он, улыбаясь ещё, повалился лицом в капусту, и забился, и захрипел, и по столу из его рта пошла пена, и опрокинулись чарки.

Бабы закричали. Дочь Будимира кинулась к мужу. Мужики вскочили. Кто-то стал трясти зятя за плечи, кто-то кричал, чтобы несли воды, кто-то — чтобы не трогали. Зять перевернули на спину. Лицо у него было синее, глаза закатились, и он ещё дышал — тяжело, со свистом, — а потом перестал.

Это было недолго. Может, столько, сколько надо, чтобы прочесть молитву.

Я сидел на своём месте и не шевелился.

Я смотрел на Будимира, а не на дочь. Я смотрел туда, куда считал нужным смотреть, — на того, кто ворует и кто убил прежнего ревизора. Это была ошибка, и ошибку эту я понял не скоро. Но об этом после.

Я смотрел на это так, как смотрел на всё за эти годы, — холодно, не отводя глаз, потому что отводит глаза тот, кому не по себе. Это была смерть, каких я не видел ни разу, хотя видел смертей больше, чем кто-либо за этим столом. Мои умирали за миг, тихо, с удивлёнными спокойными лицами. Этот умер, синев, с пеной, хрипя.

Это был яд. Яд из чарки, которую налили мне.

Будимир стоял над зятем, огромный, бледный, и смотрел на меня.

Он смотрел на меня так, как, должно быть, смотрели на меня когда-то разбойник в овражине и Чайка в трюме. С ужасом. Он налил мне чарку с отравой, а я сидел живой, а его зять, который выпил за меня, лежал на полу синий. И я, глядя на эту чарку, сказал: не пью, и накрыл её ладонью, — так, будто знал.

Он не понимал, знал ли я. И это непонимание было страшнее, чем если бы я знал.

Я и сам не знал тогда, чего он боится больше: того, что я понял про яд, или того, что я — тот самый старик из байки, над которой он смеялся час назад. Для человека, у которого на столе только что посинел зять, это было одно и то же.

А потом за столом сказали то, чего я не ждал.

Сказал один из старейшин, старый, седой, в бобровой шубе, — сказал негромко, но в тишине, которая стала над телом, его слышали все.

— Не пьёт, — сказал он. — А кто за него выпил, тот помер.

Сорок человек повернулись и посмотрели на меня.

И я увидел у них в глазах то, что видел однажды у костров обоза, после падежа, когда немолодой возчик сказал у трёх могил то самое слово, морь, и через минуту его повторили все. Я увидел, как у них в головах складывается байка, которую они слушали в кабаке на этой неделе. Старик, который не пьёт. Старик, рядом с которым умирают. Старик с юга, которому надоел юг.

Корабельщик, который меня привёз, сказал первым, тихо, будто сам себе:

— Он с нашего судна. С юга. И не пил всю дорогу.

Гости уходили молча, быстро, не глядя на меня. Старейшины — первыми, кутаясь в шубы. Корабельщик ушёл, перекрестившись, или что там у них вместо этого. Работники унесли зятя наверх, в его клеть, и дочь Будимира пошла за ними, и я слышал, как она кричит там, наверху, долго, на одной ноте.

Будимир стоял посреди опустевшей горницы, над опрокинутыми чарками, и смотрел на меня. Он не сказал ни слова. Потом повернулся и ушёл, тяжело, как уходит медведь, которого ранили.

Я поднялся к себе, задвинул засов и сел на лавку.

Яд был в чарке, которую поставили мне. Чарку велел поставить Будимир. Зять выпил сам, по дури, на глазах у всего стола. Я не коснулся никого.

А всё равно ряд сложился вокруг меня. Сам. Из чужого яда.

Глава 5. Мороз

Зятя хоронили на третий день, и хоронили не в землю, а в снег.

Землю на севере зимой не копают: она мёрзлая на сажень, как камень. Мёртвых до весны кладут в холодную клеть за погостом, в сосновых колодах, одного на другого, а весной, когда отойдёт земля, хоронят всех разом. Так сказал мне Мокей, и так и сделали: зятя положили в колоду, вынесли в клеть, поп прочёл над ним, и все вернулись на двор поминать.

Клеть эту я видел потом. Низкий сруб без окон за погостом, на отшибе, заметённый по крышу, и дверь в нём на деревянном засове снаружи, чтобы не забрались звери. Внутри, говорил Мокей, к весне набирается колод тридцать, а в плохую зиму и сорок, и весной их выносят разом, и поп отпевает всех вместе, и над городом тогда стоит такой звон, что слышно на Серых мысах. Мёртвым тут было холодно, как живым, и ждали они тоже весны.

Меня на поминки не звали, и я не пошёл.

Я сидел наверху, за засовом, и слушал, как внизу поминают. Поминали так же, как пировали, только пели другое, а пили столько же. Голоса становились громче, потом пьянее, потом злее. Дочь Будимира, вдова, сидела, говорили, во главе стола, вся в белом — тут вдовы ходят в белом, — и не плакала, и не пила, и ни с кем не говорила.

А за эти три дня в городе обо мне сказали всё, что можно было сказать.

Я слышал это, когда ходил в кабак за квасом, — ходил нарочно, потому что не ходить значило показать, что боюсь. В кабаке при мне замолкали. Звероловы, которые три дня назад сидели со мной на одной лавке, отодвигались. Однорукий, тот, что показывал мне бирку, встал, когда я вошёл, и ушёл, не допив. За спиной у меня говорили вполголоса, и я слышал обрывки: не пьёт; кто за него выпил; с юга; байка; колдун.

На улице одна баба, увидев меня, плюнула в снег и сотворила знак, — не на меня, а в сторону, но так, чтобы я видел. Мальчишка-водонос, который таскал вёдра от проруби на Будимиров двор, перестал носить их в сени, а ставил у крыльца и убегал. Собаки на псарне выли, когда я проходил, — впрочем, они выли всегда, но теперь мне говорили, что выть они стали из-за меня.

Город за три дня сделал со мной то же, что обоз сделал когда-то за полтора месяца после падежа: сложил ряд. Тогда ряд сложился из чужих смертей — из брода и хвори. Тут — из одного чужого яда. Ряду, как я понял ещё тогда, не нужно много. Ему нужен только тот, кто чужой.

На второй день меня позвали на сход.

Сход сидел в своей избе на площади — двенадцать старейшин в шубах, на лавках вдоль стен, и посередине печь, и у печи — тот самый седой, в бобровой шубе, что сказал на пиру первое слово. Будимир тоже сидел там, на своём месте, и смотрел в пол.

Меня поставили посередине, у печи.

Седой спросил, кто я.

Я сказал: счётчик дома Ведмаров из устья, присланный сверить пушной счёт Будимира, — то самое, что они знали и так. Достал письмо дома с печатью и показал. Седой посмотрел на печать — круг и три черты — и долго молчал.

— Зять Будимиров за тебя выпил, — сказал он наконец. — И помер.

— Выпил сам, — сказал я. — Я не просил. Я не пил и не прошу никого пить.

— А почему не пил?

— Зарок. Когда тонул, давал морю.

Кто-то из старейшин хмыкнул. Кто-то сказал, что зарок дают звероловы, а не счётчики. Кто-то сказал, что на юге ходит байка про старика, который не пьёт, и что старик этот приплыл на последнем корабле.

А один, молодой ещё, с чёрной бородой, сказал громко то, о чём, видно, говорили по городу все:

— Проверить его надо. По-нашему. В прорубь. Утонет — значит, человек, и помянем. Не утонет — значит, сами знаете кто.

Двое закивали. Остальные смотрели на седого.

Седой поднял руку, и все замолчали.

— Ты человек дома, — сказал он. — Дом даёт нам серебро. Тронуть человека дома — ссориться с домом. С домом мы ссориться не будем.

Он помолчал.

— Но и держать тебя в городе до весны мы не хотим. Люди говорят. А когда люди долго говорят, они делают.

Я понял, что он говорит, и понял, что он прав. Он говорил то, что сказал бы на его месте я сам.

И тут поднялся Будимир.

Он поднялся тяжело, огромный, бледный, с красными веками, и сказал, не глядя на меня, что ревизора можно отвезти в лес, в зимовье к звероловам, — там у него свои люди, там тихо, там ревизор и сверит, что хочет сверить, по биркам, и до весны пересидит, а весной вернётся с мехом, и уплывёт с первым судном. И людям спокойнее, и дому не обидно.

Старейшины переглянулись и закивали. Седой посмотрел на Будимира долго, потом на меня.

— Поедешь? — спросил он.

Я сказал, что подумаю до завтра.

У двери, когда я уже выходил, седой в бобровой шубе догнал меня и сказал тихо, так, чтобы не слышали другие:

— Уезжай, отец. Мне всё равно, кто ты. Мне не всё равно, что будет с городом, если ты останешься.

Я шёл со схода через площадь, и на меня смотрели из всех дверей. На Будимировом дворе, наверху, в окне вдовьей клетки, стояла белая фигура — дочь Будимира в своём вдовьем, — и смотрела, как я иду через двор. Когда я поднял голову, она не отошла от окна, как отходила прежде, а стояла и смотрела, пока я не вошёл в сени.

Думать мне было не о чем. Я знал, что эта поездка — та же, на которой пропал Домаш. Я знал, что Будимир предлагает её не потому, что хочет спрятать ревизора, а потому, что хочет, чтобы ревизор больше не вернулся. И я знал, что, если не поеду, — в городе меня не тронет никто из тех, кто сидел на сходе, но тронет кто-нибудь из тех, кто сидит в кабаке.

Это случилось в ту же ночь, на поминках.

Я не спал. Я сидел за засовом, слушал, как внизу поют, и считал, что мне делать с лесом. Кольцо было включено с темноты.

Ближе к полуночи мне понадобилось выйти.

Нужник стоял во дворе, за баней, у частокола, — на севере его не ставят в доме, — и ходить туда приходилось через весь двор, по морозу, по скрипучему снегу. Я надел шубу, отодвинул засов, спустился по лестнице мимо двери, за которой поминали, и вышел.

Мороз был такой, что воздух звенел. Звёзды стояли низко и ярко, и снег под ними был синий. Собаки молчали — даже им было холодно.

Над частоколом, над лесом, по краю неба, шли зелёные полосы — медленно, будто кто-то вёл по небу мокрой кистью. На севере, говорил Мокей, это бывает в самые лютые ночи, и звероловы говорят, что это мёртвые ходят на небе с факелами. Я смотрел на эти полосы и знал, что это такое, — знал так, как знает человек, водивший корабли между звёздами. Здесь этого не знал никто.

Они ждали меня у бани.

Двое. Я узнал их, когда они вышли из тени: приятели зятя, молодые, здоровые, сидевшие с ним рядом на пиру, — пьяные теперь так, что их качало, но не настолько, чтобы не понимать, зачем пришли. Они, верно, поднимались на поминках, и пили, и говорили, и договорились до того, что колдуна надо проверить так, как проверяют колдунов на севере. Я знал, как: старый зверолов сказал это в первый же вечер, засыпая на нарах.

— Пойдём, дед, — сказал один, весело, хрипло. — К проруби пойдём. Посмотрим, тонешь ты или нет.

Колдун не тонет. Колдуна вода не принимает. Опустит его в прорубь: утонет — значит, человек, и упокой его; всплывёт — значит, колдун, и тогда его уже никто не пожалеет.

Я знал эту проверку, хоть и видел её впервые. В ней не было выхода. Старик в шубе, опущенный в прорубь на северном морозе, умирает, утонув или не утонув, — от одного холода, за то время, пока его тащат обратно. Проверка эта была не для того, чтобы узнать, колдун ли. Она была для того, чтобы колдуна не стало, кем бы он ни оказался.

Я ничего не сказал. Я стоял на тропинке между баней и частоколом и ждал.

Первый взял меня за ворот шубы — обеими руками, сильно, чтобы тащить. Второй зашёл сбоку и схватил меня под руку.

Двое — разом.

Разряды пришли один за другим, — два злых укола от кисти к груди, — и я закусил губу и устоял. Первый осел на снег у моих ног, всё ещё держа мой ворот, и потянул меня за собой, и я наклонился и разжал его пальцы. Второй упал на бок, в сугроб у стены бани, и лежал там, подогнув ногу, с открытым ртом, из которого шёл ещё пар — последний.

Я постоял, слушая. Во дворе было тихо. За стеной хором пели поминальное. Собаки молчали.

Потом я сходил туда, куда шёл, — нужно было, и нужно было, чтобы на снегу была моя тропинка к нужнику и обратно, обыкновенная, а не такая, которая обрывается у бани. Вернулся, обошёл их стороной, по своим же следам, поднялся наверх, задвинул засов.

Сорок седьмой и сорок восьмой.

Я сосчитал их, как считал всех, — по порядку, следующими, — и подумал, что за эти шесть лет на этой планете я ни разу ещё не убивал в чужом дворе, в двадцати шагах от хозяйского крыльца, за стеной, за которой пели. Это было против всех моих правил. Не убивать там, где живёшь. Не убивать там, где хватятся к утру. Не убивать двоих разом рядом с собой.

Но правила мои были писаны для мест, где мёртвого спрашивают. А тут, на севере, у мёртвого, найденного утром в сугробе после поминок, не спрашивали ничего. Тут его спрашивал мороз, и мороз всегда отвечал одно и то же.

Кольцо я оставил включённым до утра и лёг. Спать, впрочем, не спал: лежал и слушал, как внизу допевают поминальное, а потом как расходятся, хлопая дверями, и как на морозе трещат брёвна.

Их нашли на рассвете, работники, которые пошли за дровами.

Двое пьяных с поминок вышли до ветру и замёрзли у бани. На севере так помирали каждую зиму: выйдет пьяный в мороз, сядет отдохнуть в сугроб — и к утру деревянный. Работники так и сказали, и Мокей так и сказал, и сам Будимир, когда вышел на крыльцо и посмотрел, так и сказал — громко, чтобы слышали все.

А потом, когда работники понесли их в клеть к зятю, Будимир поднял голову и посмотрел на моё окно наверху.

Посмотрел долго.

Я стоял за слюдой и смотрел на него сверху.

Внизу, у бани, на снегу, где они лежали, остались две вмятины, и работники, проходя мимо, обходили их стороной, будто это были не вмятины в снегу, а ямы.

Он не мог знать. Он не видел ничего. Ночью он сидел за поминальным столом и пил, и за стеной у него пели, и в окно он не смотрел. Но он видел, что у бани, в двадцати шагах от нужника, куда ночью ходил ревизор, лежат двое, которые на поминках при нём, при Будимире, говорили, что пойдут к колдуну. Он слышал, как они договаривались. Может, и сам не мешал. А теперь они лежали целые, без единой раны, со спокойными лицами, — и на снегу у бани была только моя тропинка к нужнику и обратно, обыкновенная.

К полудню весь город знал, что приятели зятя пошли ночью к колдуну и замёрзли у бани.

К вечеру об этом говорили уже не как о том, что замёрзли.

Будимир пришёл ко мне наверх сам. Это был первый раз, как он поднялся ко мне в горницу.

Он постучал, и я отодвинул засов, — кольцо я перед этим погасил, — и он вошёл, огромный, в шубе, и остановился у двери, не подходя. Раньше он всякий раз, как видел меня, тянулся обнять или хлопнуть по плечу. Теперь он стоял у двери и держал руки за спиной.

— Завтра до света, — сказал он. — Сани будут у крыльца. Мой человек, Ждан, отвезёт тебя в зимовье. До весны. Там тебе будет тихо.

Голос у него был ровный, хозяйский. Но он не смотрел мне в глаза, а смотрел мне на руки.

— А люди спокойнее будут, — сказал он. — Сход так решил.

Я сказал, что поеду.

— Сверишь там, что хочешь, — сказал он, и в голосе его что-то дрогнуло. — Бирки у них. Всё у них. Сам увидишь, что зверь ушёл.

Он сказал это мне, ревизору, который три дня назад сказал ему, что всё сходится. Он не знал, что я видел бирку однорукого. Или знал. Мне было уже всё равно.

Он кивнул и вышел, и я слышал, как он спускается, медленно, тяжело, будто нёс что-то на плечах.

Я задвинул засов и сел.

Я знал, что Ждан отвезёт меня туда же, куда отвезли Домаша. Я знал, что в зимовье меня ждут не для того, чтобы мне было тихо. Я знал, что Будимир теперь боится меня так, как боятся только того, чего не понимают, — и что тот, кто так боится, торопится.

И всё-таки я ехал.

В городе меня держали стены, сход, кабак, прорубь и люди, которые долго говорят, а потом делают. А в лесу не было ничего, кроме снега, волков и тех, кто меня туда везёт.

В лесу всякий встречный был один.

Лес был моей дорогой с первого дня на этой планете, — с той тропы, по которой я, голый, вышел к людям. Будимир думал, что везёт меня туда, где ему удобно меня убить. А вёз туда, где мне удобнее всего.

Я лёг под шкуру, не гася кольца, и ждал утра.

А под утро, когда я уже почти уснул, кто-то снова поднялся по лестнице, тихо, в мягкой обуви, и под дверь мне просунули сложенный лоскут бересты.

Я поднял его, когда шаги ушли, и прочёл при свече. На бересте было нацарапано ножом, неумело, кривыми буквами, — так пишет тот, кто знает буквы, но пишет редко, или тот, кто нарочно пишет не своей рукой. Тит писал не так: у Тита была рука писца, и его крючок я узнал бы и в нацарапанном. Кто ещё в этом доме знал буквы, я не знал. Слов было четыре.

Не езд. Домаш не умер.

Глава 6. Зимовье

Бересту я сжёл в печи до рассвета, не пересчитывая.

Четыре слова я запомнил и так, а береста, исцарапанная чужим ножом, была бумагой, — а бумагу находят. Не ездят. Домаш не умер. Кто бы её ни написал, он знал больше меня и хотел, чтобы я знал тоже. Зачем — я не знал. Чтобы я не поехал? Или чтобы поехал, зная?

Я поехал.

Сани стояли у крыльца, когда было ещё совсем темно. Шесть собак в упряжке, лохматых, белоглазых, — тех самых, лучших в городе, из Будимировой псарни, — лежали в снегу и, когда я вышел, поднялись разом и завизжали. На санях — мешки, топор, котёл, связка вяленой рыбы для собак, две рогатины, обмотанные ремнями. И Ждан.

Ждан был Будимиров приказчик по лесу, — тот, кто возил звероловам задаток и привозил от них мех. Огромный, как Будимир, только не толстый, а жилистый, с бородой до глаз, с лицом, на котором морозом выжгло всё, кроме глаз. Он не сказал мне ни слова, только кивнул на сани. Я сел. Он встал на полозья сзади, свистнул, и собаки рванули так, что меня откинуло на мешки.

Будимир смотрел с крыльца. Он не вышел провожать — стоял наверху, в шубе, и смотрел, как сани уходят со двора, и, когда я обернулся у ворот, он отвернулся первым.

А в окне вдовьей клетки горела свеча.

Мы ехали два дня.

Лес начинался сразу за частоколом и шёл, как сказал когда-то Мокей, до края неба. Он был не похож ни на один лес, какие я видел на этой планете. Это был не лес, а белая тишина, по которой стояли чёрные деревья — ели, огромные, в снегу по самые верхушки, так что каждая была похожа на человека в белой шубе, который стоит и смотрит, как ты едешь мимо. Под елями было темно даже в тот короткий час, когда наверху светило солнце. Снег лежал ровный, глубокий, по пояс, и сани шли по старой колее, которую Ждан находил по зарубкам на стволах.

Тишина была такая, что слышно было, как дышат собаки.

Я сидел на мешках, закутавшись в шубу по глаза, и смотрел, как мимо идут ели, одна за другой, белые, неподвижные, — и думал, что в такой лес можно увести человека и не привести обратно, и никто никогда не узнает, где он. Снег здесь заметал всё за одну ночь: следы, кровь, кострища. Весной он сойдёт и откроет то, что лежало под ним, — но весной в лесу будут только звери, а звери не носят вестей.

Домаша увезли по этой же колее. Сидел ли он на этих же мешках? Думал ли то же, что я? Он был ревизор, как я, — он, верно, тоже считал. Только у него не было того, что было у меня на левой руке под рукавом.

Ждан молчал. За первый день он сказал мне три слова: держись, ешь, спи. Ехал он, стоя на полозьях, и смотрел вперёд, на колею, и я ни разу не видел, чтобы он обернулся на меня. Но я видел, что топор у него лежит так, чтобы до него было легко достать, а не так, как кладут топор, которым колют дрова.

Ночевали в снегу.

Ждан вырыл в сугробе под елью яму, нарубил лапника, развёл огонь из сушняка, — сноровисто, быстро, как делает человек, делавший это сотни раз, — накормил собак, сварил в котле похлёбку из рыбы и крупы. Мы ели из одного котла, по очереди, деревянными ложками, и я ел после него. Потом он лёг по одну сторону огня, я по другую, на лапник, в шубе, и собаки легли вокруг нас, и грели.

Кольцо я в ту ночь включил.

Я рассудил так. Если Ждан придёт ко мне ночью, — значит, в зимовье меня не довезут, и всё решится здесь. Если не придёт, — значит, его дело ждёт меня там, в зимовье, и там тоже решится. Ни в том, ни в другом случае мне не нужно было, чтобы я спал беззащитным.

Только собаки.

Я подумал о собаках, когда уже лёг, и подумал холодно. Собака, которая ночью ляжет ко мне, чтобы согреться, — ляжет мёртвой. Наутро Ждан найдёт у моего бока мёртвую собаку без единой раны. Собаки тут были дороже людей, — во всяком случае, считали их тут дороже.

Я отполз от огня, лёг в стороне, под самой елью, на голый снег, и укрылся шубой с головой.

Ночью ко мне не пришёл никто. Ни Ждан, ни собаки. Только раз, под утро, я проснулся оттого, что где-то далеко выли волки, — тонко, долго, в несколько голосов, — и собаки у огня подняли головы и заворчали, и Ждан сел и подбросил в огонь сушняка, и посмотрел в мою сторону. Посмотрел и лёг снова.

На второй день к вечеру мы приехали.

Зимовье стояло на поляне у ручья, под горой, — низкий сруб, вросший в снег по самую крышу, так что видна была только крыша, и труба, и тропинка, протоптанная к двери, которая была ниже уровня снега. Над трубой шёл дым. Вокруг стояли вешала, на которых сушились шкурки, и лабаз на столбах, высоко над снегом, чтобы не достали звери. За ручьём, по склону горы, шли лыжни — во все стороны, к ловушкам.

Звероловов было четверо.

Они вышли на собачий лай, все разом, — бородатые, косматые, в шкурах, с ножами на поясах, похожие друг на друга, как похожи бывают люди, которые живут вместе полгода в одном срубе и не видят никого, кроме друг друга. Они обнялись со Жданом, и хлопали его по спине, и спрашивали, что привёз. Потом посмотрели на меня.

— Это, что ли, ревизор? — сказал старший, рыжий, с рваным ухом.

Ждан кивнул.

— Худой какой, — сказал рыжий и засмеялся. — До весны не дотянет.

Остальные засмеялись тоже. А Ждан не засмеялся.

Внутри зимовья была одна изба — низкая, тёмная, жаркая, с печью-каменкой, с нарами вдоль трёх стен, с окошком в ладонь, затянутым пузырём. Пол был из толстых тёсанных плах, и плахи эти в одном месте, под нарами у дальней стены, лежали ровнее прочих и были прикрыты шкурами. Я тогда не придавал этому значения. Пахло мехом, жиром, дымом и людьми, которые не мылись с осени. На стенах висели шкурки, ловушки, верёвки. И на одной стене, на гвоздях, в ряд, — бирки. Десятки бирок. Половинки расколотых палок с зарубками, и на каждой — метка того, кто сдал.

Я посмотрел на эти бирки так, как смотрят на книгу, которую искали полжизни.

Здесь лежал настоящий счёт. Здесь, на этой стене, лежало то, что Будимир прятал от дома два года. Сложи эти бирки с его книгами — и порча кончится, и сорока, которых не было, найдутся.

Рыжий заметил, куда я смотрю.

— Бирками интересуешься, ревизор? — сказал он. — Завтра посмотришь. Всё покажем. Прежний тоже смотрел.

И опять засмеялся.

Ужинали вместе, впятером, из одного котла, — я, Ждан и четверо. Пили брагу из ковша, по кругу. Когда ковш дошёл до меня, я сказал: зарок. Звероловы переглянулись. Рыжий сказал, что зарок — дело святое, у него самого зарок не ходить на медведя в полнолуние, и что он не неволит. И налил себе.

Они говорили о своём — о ловушках, о соболе, о волках, которых этой зимой много. О том, что в верхнем распадке завелась росомаха и таскает из ловушек соболя прежде них. О том,

что в прошлую зиму у соседнего зимовья медведь-шатун задрал человека. О том, что Будимир в этом году задаток дал меньше, а требует больше, и что весной надо бы с ним поговорить. Говорили грубо, коротко, с бранью, и смеялись так, как смеются люди, которым не над чем смеяться, кроме друг друга. Говорили, не стесняясь меня, как говорят при собаке или при мёртвом. И только раз, когда Ждан вышел к собакам, рыжий наклонился к соседу и сказал что-то тихо, и сосед посмотрел на меня и кивнул.

Я лёг на нары у дальней стены, лицом к избе, в шубе, — лёг первым, по-стариковски, сказав, что устал.

Кольцо я включил под шубой.

Они легли не сразу. Ещё долго сидели у каменки, пили, говорили, потом стали укладываться — кто на нары, кто на пол, на шкуры. Ждан лёг у двери. Огонь в каменке опал, стало темно, только угли светились красным.

Я лежал с закрытыми глазами и дышал, как дышит спящий старик, — тяжело, со свистом.

Они пришли за полночь.

Я услышал, как скрипнули нары и как кто-то тихо встал, и потом второй, и как они идут ко мне, медленно, ступая по шкурам. Двое. Я слышал, как они дышат — часто, с перегаром.

Один наклонился и положил мне ладонь на лицо — широкую, жёсткую, пахнущую рыбой, — зажимая рот, чтобы я не крикнул. Другой взял меня за горло.

Сорок девятый. Пятидесятый.

Они упали на меня оба — один поперёк груди, другой на ноги, — и я лежал под ними, стиснув зубы от двух разрядов подряд, и ждал, проснутся ли остальные. Никто не проснулся. Храпели. Угли в каменке светились, и в их свете я видел над собой бороду Ждана.

Ждан и рыжий. Это они пришли.

Так убили Домаша, подумал я, лёжа под ними. Ночью, в зимовье, двое, рука на рот, рука на горло, — а потом шубу порвать, кровь из собачьего горла на неё, и волчьи следы у ручья, которых тут всегда полно.

Я выбрался из-под них и сел на нарах. Кольцо не гасил.

Утром трое оставшихся проснулись и увидели.

Старик сидел на нарах у стены, в шубе, и смотрел на них. А у его ног, на шкурах, лежали Ждан и рыжий, — лежали целые, без единой раны, с лицами спокойными и удивлёнными, как у всех моих.

Третий, спавший на полу у каменки, поднялся последним и увидел последним.

Они не кинулись на меня. Они попятились.

— Колдун, — сказал один, молодой, белобрысый, и голос у него сорвался. — Колдун, братцы. Как в байке.

— Руками не трожь, — сказал второй, постарше. — Не трожь его руками!

И кинулся к стене, к рогатинам.

Рогатина — это древко, толстое, длиной в рост, с железным пером на конце. Древко — дерево. Я знал это с первого дня на этой планете.

Я не стал ждать, пока он её снимет. Я встал, пошёл к двери — мимо них, прямо, не быстро, как идёт старик, — и они расступились передо мной, прижимаясь к стенам, и я вышел.

Снаружи начиналась метель.

Её не было ночью, а к утру налетела с горы, и теперь над поляной несло снег — так густо, что в двадцати шагах не было видно вешал, а в сорока — леса. Ветер выл в елях. Собаки лежали, свернувшись, засыпанные по уши.

Я пошёл в эту метель, от зимовья, к ручью, и через двадцать шагов зимовья за мной не стало.

Они пошли за мной.

Я слышал их — голоса, крики, — но не видел. В метели не видел никто никого. Я стоял за вешалами, прижавшись к столбу, и ждал, и снег засыпал меня так, что я стал похож на сугроб.

Один прошёл мимо в двух шагах, с рогатиной наперевес, и не увидел.

Второй — молодой, белобрысый — наткнулся на меня. Наткнулся, как натыкаются в метели на то, чего не видят, — вытянутой рукой, — и рука его, ища опоры, схватила меня за ворот шубы.

Пятьдесят первый.

Он сел в снег у моих ног, и его тут же стало засыпать.

Третьего я не тронул. Третий, постарше, с рогатиной, ходил по поляне и кричал имена товарищей, а потом, видно, решил, что они ушли к ручью, и пошёл туда, — и я слышал, как у ручья он закричал по-другому, коротко, и как треснул лёд, и как что-то тяжело плеснуло. Ручей тут бил ключом из-под горы и зимой не замерзал до конца: под снегом были полыньи. Звероловы знали их. В метели он их не увидел.

Крик больше не повторился.

Я стоял у вешал, пока метель не стала стихать, — до сумерек, — и ждал четвёртого. Того, что спал у каменки. Он не выходил.

Он вышел к ночи, к собакам, — я видел его силуэт у двери, с фонарём, с рогатиной. Он постоял, посмотрел в сторону ручья, покричал. Никто не ответил. Он вернулся в зимовье и закрыл дверь.

Я подошёл к двери в темноте. Подождал. Потом стукнул в неё рукой — негромко, два раза, — так, как стучит вернувшийся товарищ.

Дверь открылась.

Он стоял в проёме, без рогатины, — бросил, видно, у каменки, услышав своих, — с фонарём в руке, и, увидев меня, не успел ни крикнуть, ни отступить. Он сделал то, что делает всякий, кого застают врасплох в дверях: оттолкнул меня, упёршись ладонью мне в грудь.

Пятьдесят второй.

Фонарь упал в снег и погас.

Я втащил его в избу, — он был не тяжёлый, не то что Ждан, — и положил у каменки, и закрыл дверь, и задвинул засов изнутри.

Потом вышел ещё раз, к собакам, и накормил их вяленой рыбой из Ждановых мешков, бросая куски издали, не подходя. Собаки были не виноваты ни в чём, и собаки были мне нужны: без них из этого леса до города не дойти.

Потом я сел на нары у стены, в темноте, где светились угли, и сидел долго. Кольцо было включено. Вокруг меня лежали Ждан, рыжий и четвёртый. Снаружи лежали ещё двое: один в снегу у вешал, другой в ручье, подо льдом. Метель стихала, и было слышно, как скулят собаки — сытые, но тоскливо, как скулят собаки, у которых не стало хозяев.

Я сидел и думал, что береста врала. Или не врала.

Домаша тут не было. Тут были бирки на стене, и пятеро мёртвых, и метель, и я.

А потом, под полом, у самых моих ног, кто-то постучал.

Стук был тихий, три раза, — костяшками пальцев по доске. Я посмотрел вниз. В полу, под нарами, где лежали шкуры, была крышка — я не заметил её днём, её закрывали шкурами, — и крышка эта приподнялась, и из-под неё ударил свет лампы.

Из погреба поднялся человек.

Он был немолодой, худой, бледный, как бывают бледны те, кто долго не видит солнца, с аккуратной седой бородкой, в хорошей суконной рубаше, с лампой в одной руке и с рогатиной в другой. Он не вышел из погреба совсем — остался стоять по пояс в люке, держа рогатину перед собой железом ко мне, — и посмотрел на меня, и на мёртвых, и снова на меня.

— Ну, здравствуй, ревизор, — сказал он спокойно. — Я тот, кого волки съели.

Глава 7. Прежний

Мы смотрели друг на друга долго — он из погреба, по пояс, с лампой и рогатиной, я с нар у стены, в шубе, с включённым кольцом.

Между нами было шага четыре и мёртвый Ждан на полу.

Он не подходил. Он стоял в люке так, как стоят люди, которые всё уже посчитали: древко рогатины упёр в край люка, железо держал на уровне моей груди, и смотрел не на моё лицо, а на мои руки. Он видел, понял я. Он сидел в погребе, под полом, всю ночь и весь день, и слышал, как пришли двое и как упали. Слышал, как утром закричали трое. Может, смотрел в щель между плахами, как я сижу на нарах, а вокруг лежат мёртвые.

Он видел, как Ждан и рыжий взялись за меня руками. И как легли.

— Не вставай, — сказал он спокойно. — Сиди, где сидишь. Нам с тобой надо поговорить, а говорить удобнее, когда между нами железо.

Я сидел.

— Ты Домаш, — сказал я.

— Был, — сказал он. — Теперь меня нет. Меня волки съели позапрошлой зимой. Шубу мою нашли у ручья, рваную, в крови. Ты, верно, слышал. Тебе, верно, Мокей рассказал, — он всем рассказывает, ему велено.

Он помолчал. В каменке треснул уголь, и он скосил глаза на звук, и снова на меня.

Он помолчал ещё и добавил, всё так же спокойно:

— Кровь была собачья. Собаку зарезали у ручья, и шубу в ней вывалили, и волчьи следы натоптали, — волков тут и без того полно. Ждан делал. Ждан в этих делах мастер был.

Он кивнул на Ждана на полу, как кивают на вещь.

Я смотрел на него и считал.

Ему было лет пятьдесят, — может, меньше, лес и погреб старят. Худой, бледный той бледностью, какая бывает у людей, не видящих солнца, с аккуратной седой бородкой, подстриженной, — подстриженной, в зимовье, где пятеро мужиков не стригли бород с осени. Рубаха на нём была суконная, хорошая, чистая. Руки — белые, писарские, с чернильным пятном на среднем пальце правой. Он держал рогатину неумело, но крепко, и железо у него не дрожало.

Это был не пленник. Пленников не стригут и не одевают в сукно.

За его спиной, в погребе, горела вторая лампа, и в её свете я видел то, что было внизу: полки вдоль земляных стен, на полках — книги, связки бумаг, бирки, перевязанные ремешками, чернильница, перья в стакане; топчан, застеленный шкурами; сундук. Это был не погреб. Это была контора. Тёплая, сухая, обшитая тёсом, с продухом в стене, через который выходил дым от маленькой глиняной печурки. Здесь жили и работали, и жили давно.

— Ты не на цепи, — сказал я.

— Нет, — сказал он и, кажется, улыбнулся в бороду. — Цепь — это для тех, кто хочет уйти. А мне уходить незачем. Мне тут хорошо. Тепло, сытно, тихо, и никто не ищет. Мёртвого не ищут, ревизор. Ты-то, я думаю, это знаешь.

Последних слов я не понял тогда. Понял потом.

Тогда я только отметил, как он сказал это — без злобы, почти по-дружески, как говорят человеку своего ремесла, с которым можно не притворяться. Так говорил со мной когда-то приказчик обоза, когда сказал, что я считаю тише, чем надо. Так говорил Сабин, когда сказал, что я умнее всех, кого он ловил. Люди, которые умеют считать, узнают друг друга сразу, как узнают друг друга по запаху собаки одной породы.

— Расскажи, — сказал я.

Он рассказал.

Рассказывал он так, как рассказывает человек, которому два года не с кем было говорить о том, что он умеет, — с удовольствием, подробно, гордясь. Я слушал и не перебивал. Я узнавал этот голос. Так говорил бы, наверно, я сам, если бы мне было кому рассказать о том, как я разобрал схему Гурта у Ставра.

Он приехал в пушной город позапрошлой осенью, ревизором из устья, как приехал теперь я. Сел в ту же горницу, сел за те же книги. И нашёл то же, что нашёл я, — только дольше искал, полтора месяца, потому что, сказал он, не догадался сразу про бирки, а догадался, когда разговорился в кабаке с одним звероловом. С одноруким, наверно, сказал я. С ним, сказал он и засмеялся. Он всем показывает свою бирку. Он одной рукой ловит больше, чем иные двумя, и гордится.

Найдя, он пошёл к Будимиру.

— Не к дому, — сказал он, — а к Будимиру. Ты понимаешь почему.

Я понимал. Ревизор, который нашёл, может пойти к хозяину, который его послал, — и получить за это спасибо и жалованье, и врага на всю жизнь. А может пойти к тому, кто ворует, — и получить долю.

Будимир дал ему долю. Только доля эта была хороша, покуда ревизор сидит в пушном городе. А весной ревизору надо было уезжать в устье и докладывать дому, что всё сходится. И на следующую осень дом прислал бы нового ревизора, а потом ещё одного, и всякий новый мог оказаться не таким сговорчивым. А со старым, сговорчивым, дом спросил бы рано или поздно: как же ты не нашёл?

— Живой ревизор — это ревизор, которого спросят, — сказал Домаш. — А мёртвого не спросят. Я и умер.

Он придумал это сам. Ждан помог, Будимир заплатил. Ревизор поехал смотреть зимовья, отстал в метель, волки, шуба у ручья. Подпись свою под итогами года он поставить уже не мог — мёртвый, — и поставил её Тит, его рукой, как сумел. Неловко поставил, сказал Домаш и поморщился, как морщится мастер от чужой плохой работы. Я ему говорил: крючок свой не ставь. А он не может, у него рука сама.

— Я видел крючок, — сказал я.

— Вижу, что видел, — сказал он. — Потому ты и здесь.

А дальше Домаш остался в лесу. Мёртвый ревизор вёл теперь Будимиров настоящий счёт — тот, что по биркам, — и вёл его здесь, в погребке, при лампе, где никто не увидит. Звероловы его кормили, Ждан привозил ему чернила и бумагу. Весной, когда звероловы везли мех в город, он ехал с ними, под шкурами, и в городе, ночью, сводил с Будимиром, сколько ушло в книги, а сколько мимо. А мимо уходило много.

— Куда мимо? — спросил я.

— А вот это самое интересное, — сказал он, и глаза у него стали живые. — Тебе понравится. Ты ведь тоже счётчик.

Хороший мех, который Будимир писал в порчу, шёл летом не южным скупщикам, как было записано в книгах. Он шёл в устье, тем же самым судном, что вёз в устье мех дома. Только в устье его принимал не дом, а один человек в конторе дома, — и этот человек принимал его отдельно, записывал как мех, купленный домом у других скупщиков, по хорошей цене, и платил за него серебром дома. Будимиру. А Будимир делился с этим человеком и с Домашем.

Дом платил дважды за один и тот же мех: сперва Будимиру задатком за то, что ему будто бы недодали, а потом — за то же самое, будто купленное у других.

Я сидел и разбирал это в уме, как разбирают чужие часы, — колесо за колесом. Бирка — книга — порча — судно — контора — серебро. Каждое колесо по отдельности было честное: бирка не врала, книга сходилась, порча была записана, судно шло, контора платила. Ложь была не в колёсах, а в том, как они сцеплены. Проверить её мог только тот, кто видел и бирку в лесу,

и книгу в городе, и запись в конторе в устье. Такого человека у дома не было. Был один — тот, что сидел передо мной в погребке. И он был мёртв.

— Красиво, — сказал я.

Я сказал это честно. Это было красиво — так красиво, как бывает красива хорошо сведённая ведомость. Гурт у Ставра до такого не додумался бы.

— Красиво, — согласился Домаш. — Не я придумал. Он придумал.

— Кто он?

Домаш посмотрел на меня долго, будто решая, сказать или нет. Потом сказал:

— В устье, в северной конторе Ведмаров, сидит старый Ведмар, брат хозяина дома. Он стар и глух, и ему всё равно. А всем в конторе вертит его старший конторщик. Пришлый, не из дома. Два года как пришёл, а уже всем вертит. Звать Горислав.

Он сказал это имя так, как говорят имя, которое мне что-нибудь должно сказать.

Мне оно не сказало ничего.

— Горислав, — сказал Домаш. — Племянник одного купца со второго города, что вверх по реке. Купца Ставра. Ставр помер, двор его рухнул под долгами, а долги его держал дом Ведмаров, — вот племянник и пришёл в контору с долгами вместе, будто с приданым. Знал торг, знал воск и кожи. И вот вертит.

Я сидел и не шевелился.

Племянник Ставра.

Тот самый, вежливый, который здоровался со мной первым, как здороваются с тем, кого собираются убрать не сегодня. Тот, кто перерыл после меня конторку и нашёл листы в моих значках. Тот, кто объявил меня вором и чернокнижником и разослал розыск через контору Ведмаров в устье. Тот, кто заплатил Клещу, чтобы тот приплыл за мной на юг.

Он сидел в устье. В северной конторе Ведмаров. Он вертел ею.

И он был тот, кто приписал внизу письма, которое ждало меня в пушном городе с осени, торопливой рукой с наклоном влево и с завитком: по розыску ищем старика-счётчика.

Я вспомнил свою вторую запись у Ставра, где месяц сводился в одну строку, и то, что я в ней увидел за год до ухода: долги, розданные без сроков, должников, которые не отдадут, двор, который рухнет через год или два. Я увидел это и промолчал, потому что дурную весть не прощают даже правому. Двор рухнул. Долги его перешли к Ведмарам. А с долгами перешёл к Ведмарам и племянник.

Я сам, своим молчанием, привёл его туда, откуда он теперь вертел северной конторой дома, который меня искал.

— А байка, — сказал я. — Про колдуна. Кто её пустил на север?

Домаш засмеялся — тихо, довольный.

— Он и пустил. С весны. У него, видишь, с одним стариком свой счёт. Старик у него жил на дворе у дяди и сбежал, а после старика дядя помер и двор рухнул. И вот он этого старика объявил чернокнижником. А раз есть чернокнижник, — то и всякую смерть, какая неудобна, можно на него списать. Кто помер не вовремя, — так это колдун. С юга байка пришла про старика, за которым смерть ходит, — а он её подхватил и пустил дальше, с прибавкой. Он мне так и писал: всякого, кто станет мешать, списывайте на старика, а старика, если объявится, — держите. Живого. Он за живого хорошо платит. Ему его сжечь надо, при людях.

Он помолчал.

— А он, видишь, объявился.

И, не опуская рогатины, левой рукой поставил лампу на край люка, нагнулся в погреб и достал оттуда что-то — свёрток, обвязанный бечёвкой, — и развязал зубами, и развернул на краю люка, на плахах, при лампе, так, чтобы я видел.

Это были листы. Три листа, исписанные чернилами, аккуратно, чужой рукой, — переписанные, перерисованные знак в знак.

Мои знаки.

Те самые, которыми я вёл когда-то у Ставра свою вторую запись, короткую, для себя, где весь месяц сводился в одну строку. Знаки, которыми на кораблях моего мира писали курсы. Знаки, которых на этой планете не знал никто, кроме меня. Их перерисовал кто-то, кто их не понимал, — я видел это по тому, как были выведены петли: старательно, по одной, как рисуют, а не как пишут, — но перерисовал верно. Я узнал бы их где угодно. Я узнал свою собственную руку, переписанную чужой.

— Он разослал списки своим людям, — сказал Домаш. — Чтобы смотрели, не объявится ли где старик, который пишет так. Мне тоже прислал, через Будимира. Я смотрел на них всю зиму. Я счётчик двадцать лет, я знаю все счётные знаки, какие есть в устье и на юге. Таких нет нигде.

Он посмотрел на меня поверх листов.

А я смотрел на него и видел себя.

Счётчик, которого считают мёртвым. Который живёт не своей жизнью, а той, что придумал себе сам, — под землёй, при лампе, со своей настоящей книгой, которую никто не видит. Которому хорошо там, где его не ищут. Который знает, что мёртвого не спрашивают. Я прожил так шесть лет — под легендой, под чужими именами, за засовами, — и думал, что я один такой на всей планете. А он прожил так два года, без всякого кольца, одним расчётом.

— Это ведь твоё?

Я не ответил.

— Ревизора, чьё имя ты носишь, я знаю, — сказал он. — Это молодой, лет двадцати пяти, племянник старого Ведмара. Я видел его в конторе в устье, когда меня посылали. А ты не молодой. Ты не пьёшь. Ты не даёшь себя трогать. И от тебя пятеро легли за одну ночь и один день, и ни у одного ни раны.

Он помолчал.

— Ты — тот старик.

Я сидел на нарах среди мёртвых, и смотрел на свои знаки на краю люка, при лампе, — и впервые за все эти годы на этой планете не знал, что сказать. Не потому, что боялся. Потому что сказать было нечего: он всё сказал сам, и сказал верно.

Домаш свернул листы, не опуская рогатины, и убрал их обратно в погреб.

— Я тебе предлагаю две вещи, — сказал он. — Выбирай.

Первое. Мы с тобой — два счётчика, и ты считаешь лучше меня, я вижу. Будимир — дурак, он долго не протянет: после того, что ты натворил в городе, его либо сожгут, либо он сам сбежит. Меха останется. Дело останется. Звероловы, бирки, путь в устье. А в устье — Горислав, которому всё равно, кто ведёт пушной счёт, лишь бы мех шёл. Мы поведём его вдвоём. Ты — ревизор дома, под чужим именем, тебя никто тут не знает в лицо. Я — мёртвый, меня никто не ищет. Лучше пары не бывает.

Второе. Горислав платит за тебя живого сто золотых.

Сто золотых, подумал я, и мне стало почти смешно. У меня в поясе, в швах сапог и в подкладке плаща было зашито больше. Меня собирались продать за меньшие деньги, чем я стоил сам. Сто. Я отвезу тебя к нему по весне, связанного, — я знаю, как тебя возить, — и получу сто золотых, и Горислав сожжёт тебя в устье при всём городе, и спишет на тебя смерть своего дяди, и всех, кого ему ещё надо будет списать.

Он помолчал.

— Мне, правду сказать, всё равно, — сказал он. — И то хорошо, и это. Подумай до утра.

И опустил в погреб, медленно, не сводя с меня глаз и рогатины, и крышка люка закрылась над ним, и я услышал, как снизу, под полом, задвинули засов.

Глава 8. Чёрная книга

Ночью я не спал. Я сидел на нарах среди мёртвых, при углях каменки, и перебирал то, что он предложил, как перебирают товар на торгу.

Первое было выгодное. Пушной счёт, мёртвый партнёр, которого никто не ищет, чужое имя, под которым меня никто не знает в лицо, дом, который платит дважды. Я мог бы прожить так годы. Только партнёром моим был бы человек, который знает, кто я, знает про руку и держит рогатину. И над нами обоими был бы Горислав, который платит за меня сто золотых живого. Партнёр, у которого в сундуке лежат списки моих знаков, — это не партнёр, а покупатель, который ждёт цены получше.

Второе было для меня костёр.

А третьего он мне не предлагал, потому что третье было — у меня.

Утром я сказал ему, что согласен.

Я сказал это через крышку люка, когда он постучал снизу три раза, как стучал вечером, — сказал коротко, не объясняя, как говорят люди, которые всё посчитали за ночь. Он помолчал под полом. Потом засов внизу отодвинулся, крышка поднялась, и он показался по пояс, как вчера, с рогатиной и лампой, и посмотрел на меня долго.

— Согласен — на что? — спросил он.

— На первое, — сказал я. — Вести счёт вдвоём.

Он кивнул, будто так и думал. Но рогатину не опустил.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда так. Мёртвых надо прибрать, пока не начали пахнуть. Ждана, рыжего и этих. Собак накормить. А к вечеру поедem в город. Ты — ревизор, вернулся из зимовья. Звероловы и Ждан пропали в метели — пошли к ловушкам и не вернулись, ты ждал два дня, потом поехал сам. Собак ты гнать не умеешь, — а я умею. Я поеду с тобой под шкурами, как езжу весной. В город въедem ночью. Будимиру скажем, что ты со мной. Остальное сведём.

Он говорил ровно, деловито, как говорят о деле, которое уже сделано наполовину. И я понимал, что он не верит мне ни на волос.

Я бы на его месте тоже не верил.

Он не верил, и потому всё, что он сказал, было сказано так, чтобы мне не досталось ни одного случая. Мёртвых прибирать — мне: он не выйдет из люка, пока я таскаю тела. Собак кормить — мне. Сани гнать — ему, а я буду сидеть впереди, на мешках, спиной к нему, и он будет стоять сзади на полозьях, с рогатиной под рукой, — и между нами всю дорогу будут мешки и три шага. В город он везёт меня не как товарища, а как товар: если я по дороге передумаю, он сделает второе вместо первого, и в городе скажет Будимиру не то, что старик со мной, а то, что старик связан.

Он был хороший счётчик. Он считал меня так же, как я считал его.

Я прибрал мёртвых.

Мёртвые на морозе за ночь стали твёрдые, как поленья, и тащить их было тяжелее, чем живых: они не гнулись. Руки у меня в рукавицах деревенели через четверть часа, и я входил в избу греть их у каменки и выходил снова. Домаш смотрел на меня из люка и не помогал.

Это заняло весь короткий день. Ждана и рыжего, и того, что упал у двери, я вытащил из избы за ноги, по одному, волоком, отдыхая через каждые десять шагов, и сложил за лабазом, в снегу, и забросал снегом, как велел Домаш. Белобрысого у вешал уже и так засыпало, — его я оставил, где лежал. Того, что ушёл под лёд у ручья, искать было незачем.

— Весной найдут, — сказал Домаш из люка. — Весной в лесу всегда кого-нибудь находят. Волки, метель, полынья. Звероловы мрут каждый год.

Он говорил это спокойно. Он сам когда-то был таким мёртвым — найденным весной.

Пока я таскал тела, он сидел в люке и смотрел на меня. А когда я кончил и сел отдохнуть на порог, он сказал:

— Сильно ты их. Руками.

Я не ответил.

— Я двадцать лет считаю, — сказал он. — Я видел, как мрут люди. От ножа, от яда, от мороза, от хвори. Так не мрёт никто. Взялся — и лёг. Без звука.

Он помолчал.

— Это не яд, — сказал он. — Горислав пишет, что ты травишь. Он дурак. Яд так не берёт. Это рука.

Я поднял на него глаза.

Он сказал это спокойно, как говорят о мере или о весе. И я понял, что он — второй человек на этой планете, кто сказал это вслух. Первым был Кабан, давно, в обозе, — только Кабан не говорил этого прямо, а лишь смотрел верно. Этот сказал прямо. И сказал, сидя в люке с рогатиной, которую ни разу за сутки не опустил, на расстоянии, которого хватало, чтобы рука не достала.

Тот, кто понял руку, понял и то, как от неё беречься.

Я подумал тогда о Сабине. Сабин сложил всё и ошибся в одном: искал яд. Ошибка эта и подвела его ко мне, — он берётся яда и не берётся руки. Домаш не ошибся. Он смотрел два дня из щели в полу и увидел то, что было. Против такого у меня не было ничего, кроме того, что было у меня всегда: терпения и того, что всякий человек когда-нибудь подходит.

Вечером мы запрягли собак.

Запрягал я, — Домаш вылез из погребца, когда я уже держал постромки, и встал в трёх шагах, с рогатиной, и говорил, что куда. Собаки рвались. Потом он велел мне сесть на сани, вперёд, на мешки, и я сел. Тогда он подошёл к саням сзади, встал на полозья, положил рогатину поперёк саней, под руку, и свистнул.

Мы поехали.

Шли сани ночью, по старой колее, по зарубкам, которые Домаш находил в темноте так же, как Ждан, — он, видно, ездил этой колеей не раз.

За нами шли волки.

Я не видел их, но слышал, — сперва далеко, потом ближе, — и видел, как собаки прижимают уши и бегут быстрее, не дожидаясь свиста. Волки не нападали. Они шли сбоку, в чёрных елях, на расстоянии, и выли, — то один, то другой, то все разом, — и я понимал, что они идут за санями так же, как Домаш стоит за моей спиной: на расстоянии, которого хватает, чтобы не достало, и ждут, когда кто-нибудь упадёт. Мороз был лютый, — злее, чем по дороге сюда. Звёзды горели, как гвозди, вбитые в чёрное, и снег под ними был серый, и ели стояли по сторонам, как стража, и тишина была такая, что скрип полозьев слышно было, верно, за версту.

Я сидел на мешках, спиной к нему, и считал.

Он не подойдёт. Не подойдёт всю дорогу, два дня, ни разу: ни на ночёвке, ни у костра, ни у собак. Он будет держать рогатину и три шага. В городе он скажет Будимиру то, что решит, и я узнаю это, когда меня станут вязать.

Значит, надо было, чтобы он подошёл сам. А подходит человек сам, как я знал с первого своего дня на этой планете, по одной из трёх причин: чтобы взять, чтобы помочь или чтобы проверить. Взять у меня ему было нечего: золото моё было зашито, и он о нём не знал. Проверять ему было незачем: он всё проверил ночью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.